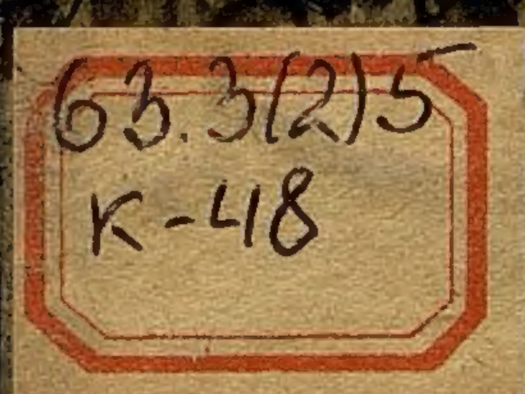
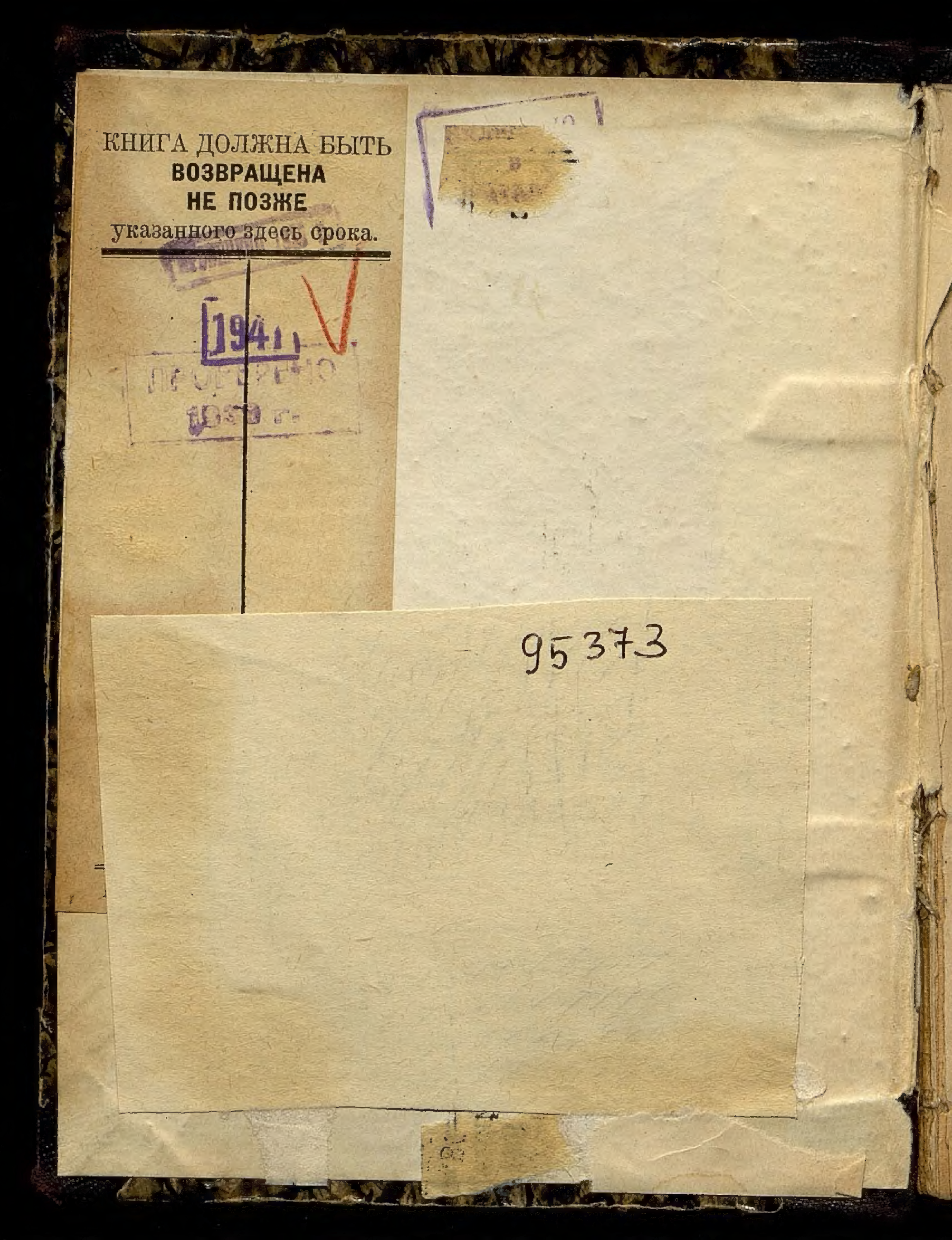


Д. А. КЛЕМЕНЦ

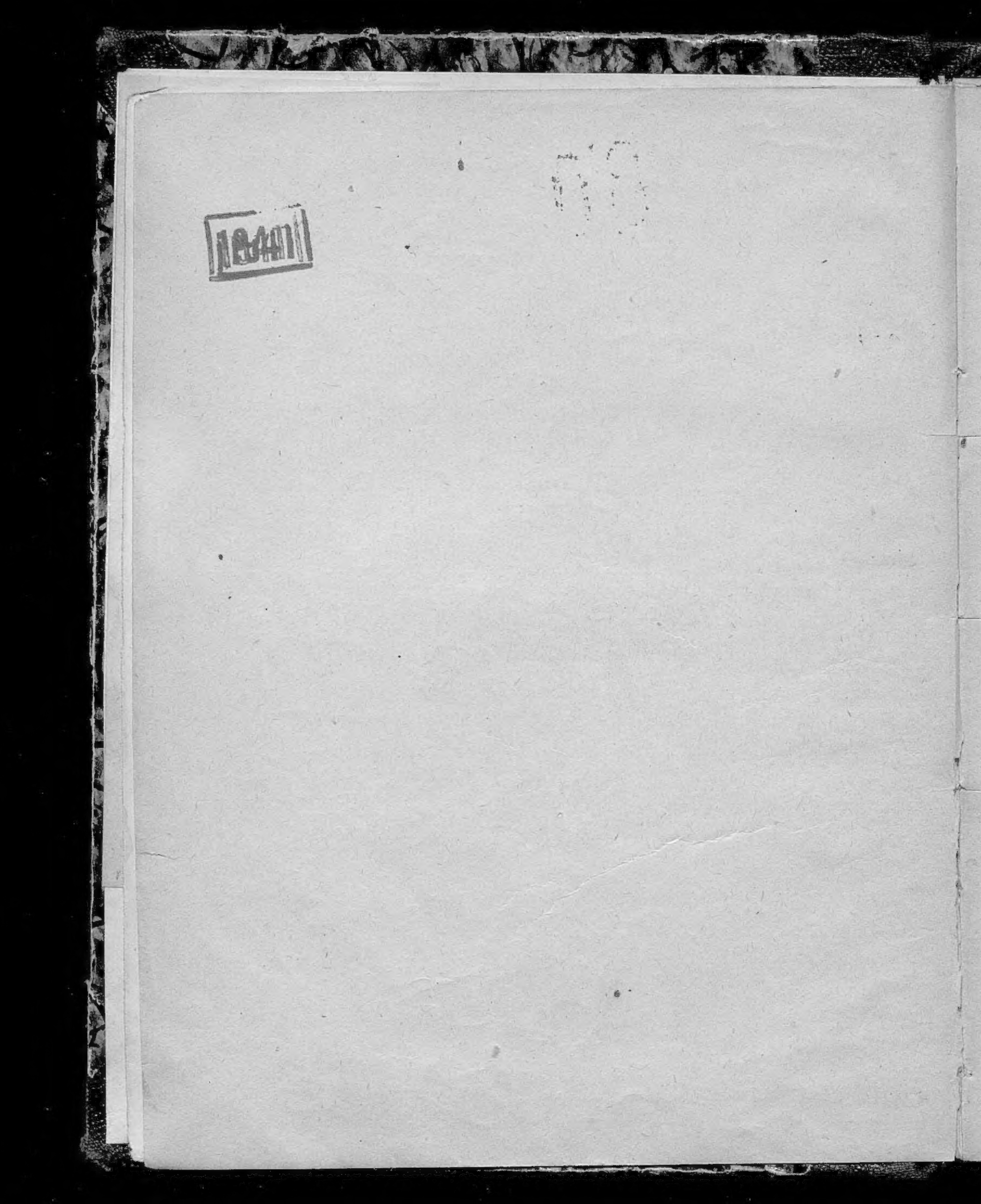
ИЗ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ

ЛЕНИНГРАД
„КОЛОС“
1925


КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА
НЕ ПОЗЖЕ
указанного здесь срока.
1941
95373

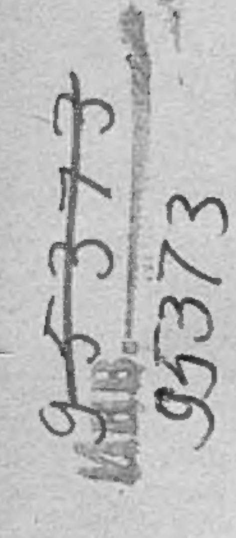

КОЛОС



Д. А. КЛЕМЕНЦ.

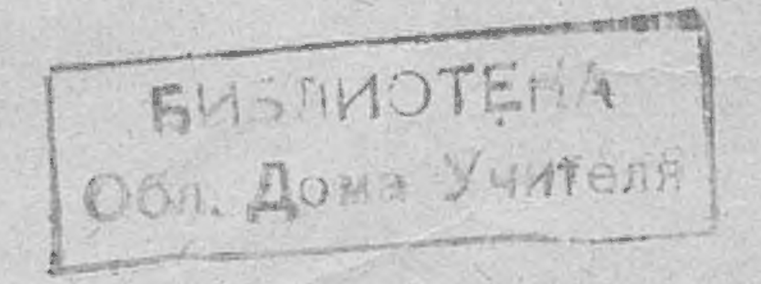
ИЗ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ.



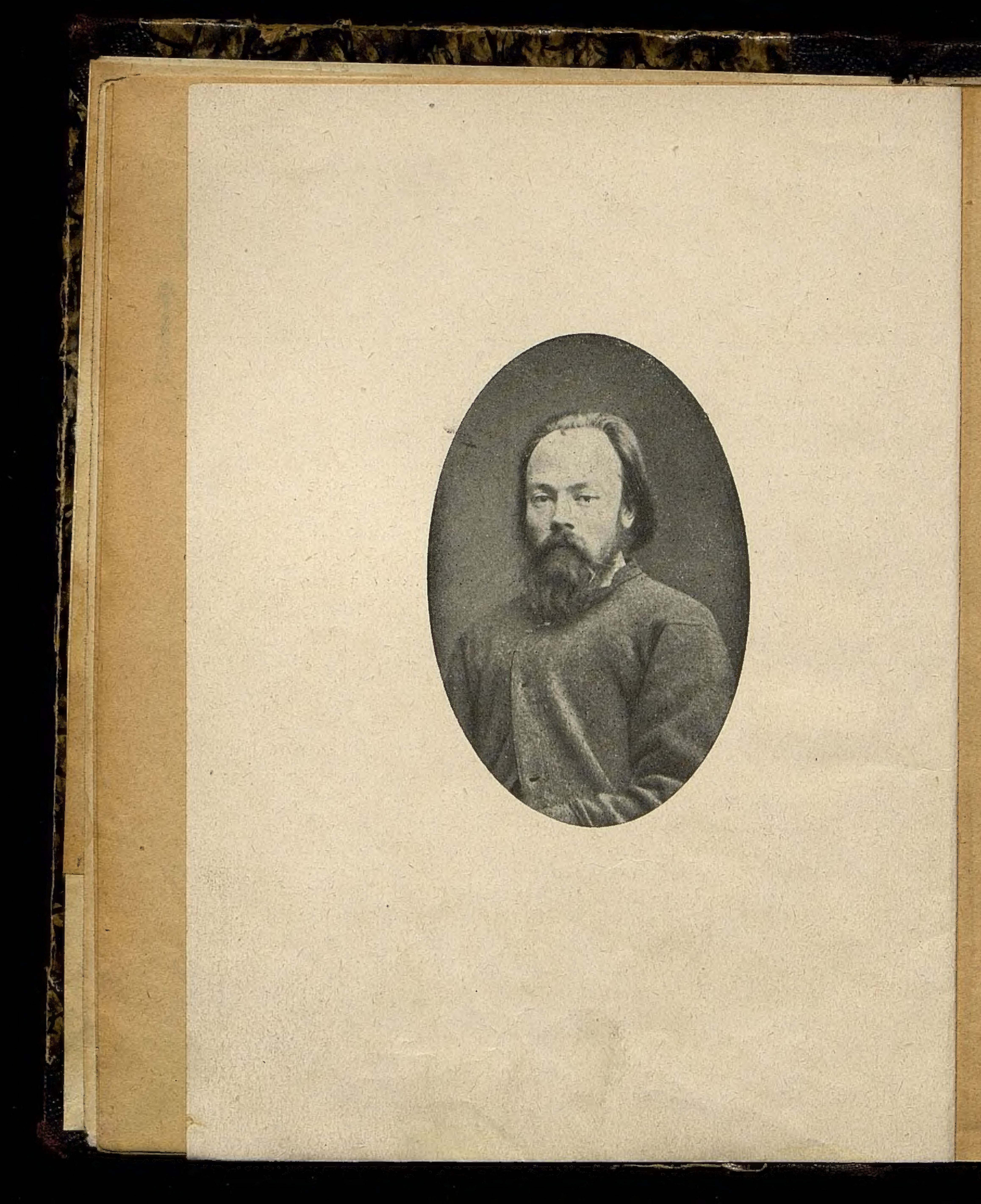
С вступительной статьей
И. И. ПОПОВА:

Д. А. Клеменц. Его жизнь и деятельность.



ЛЕНИНГРАД
„КОЛОС"
1925.

Настоящее издание напечатано в типографии 1-й Ленинградской Артели Печатников (Мох., 40) Ленинградский Гублит № 14136.— Тираж 3000 экз.— 7 печ. листов



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Мы переживаем пятидесятилетний юбилей народнического движения 70-х годов. На фоне этого движения, по нашему мнению, наиболее крупной фигурой был Д. А. Клеменц, не уступавший по своему значению А. И. Желябову. Ему в этом десятилетии принадлежит первенствующая роль видного теоретика движения и в то же время активного революционера-практика. О Клеменце ранее немало писалось, но последние годы о нем как будто бы стали забывать. Правда, имя его встречается, например, в труде О. В. Аптекмана „Земля и воля" и в журнальных статьях о 70-х годах, потому что обойти деятельность этого талантливого революционера невозможно. Но специальных трудов о Д. А. Клеменце нет. Чтобы освежить память о нем, Издательство „Колос" и решило выпустить его воспоминания „Из прошлого", охватывающие его детство и период до образования партии „Земля и воля", т. е. наиболее важного периода революционной работы Клеменца.

Но то немногое, что написал о своей жизни Дмитрий Александрович, дает несколько ярких страничек из далекого для нынешних поколений прошлого; здесь картины крепостного права, дореформенная школа, 60-е годы, университет, несколько штрихов из народнического движения начала 70-х годов, заграничная жизнь, добровольческое дви-

жение на Балканы, Черногория во время турецкой войны и Швейцария. Дмитрий Александрович только у трех глав поставил заголовки: „Под кровом родительским“, „Учебные годы“ и „Черногория“. Остальные названия глав сделаны Издательством.

Воспоминания „Из прошлого“ не охватывают всей жизни Д. А. Клеменца, а потому Издательство „Котос“ обратилось к другу покойного деятеля И. И. Попову, в течение 30-ти лет знавшему Клеменца и находившемуся с ним в тесном общении. И. И. Попов дал статью-монографию, в которой, кроме биографических, частью неизвестных до сих пор подробностей, знакомит читателя с личностью Дмитрия Александровича и характеризует его как революционера, общественного деятеля, писателя и ученого. Из этой вступительной статьи видно, какой значительной, поистине выдающейся фигурой был Д. А. Клеменц и Издательство считало бы себя исполнившим долг, если бы книга Клеменца, со статьею о Клеменце дала бы толчок к новым работам и воспоминаниям об этом во всех отношениях удивительном человеке.

Ведь еще живы и современники Д. А. Клеменца (его товарищи В. Н. Фигнер, О. В. Аптекман, Н. А. Морозов, М. И. Сажин и др.) и лица, знавшие Клеменца, как ученого и путешественника (Ф. Е. Ольденбург, В. А. Обручев, Д. И. Першин, А. П. Герасимов, В. Ф. Пекарский и др.); эти лица могли бы написать не мало нового и интересного о деятеле, память о котором должна быть сохранена.

Д. А. КЛЕМЕНЦ.
ЕГО ЖИЗНЬ и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

I.

Издательству „Колос“ пришла счастливая идея издать отдельной книгой воспоминания („Из Прошлого“) Д. А. Клеменца, имеющие большой исторический и общественный интерес. Очерки „Из Прошлого“ печатались в „Русских Ведомостях“ в 1910 и 1911 гг. и совершенно неизвестны выросшему с того времени поколению и даже поколениям.

Между тем жизнь и деятельность такого замечательного человека, каким был Д. А. Клеменц, охватывает важную эпоху русской жизни, эпоху активного народничества, наиболее видным представителем которого был автор. К сожалению, Клеменц не успел довести до конца свои художественно изложенные воспоминания: они прервались на самом разгаре его революционной деятельности и совершенно не коснулись его ссылки, научных работ, путешествий и др.

Товарищи Клеменца не мало писали о нем, и его имя встречается в воспоминаниях каждого семидесятника и многих сибиряков и ссыльных

позднейших формаций. Пользуясь этой литературой, научными трудами Клеменца и отзывами о них, моим 30-ти летним знакомством и дружбой с Д. А. и Е. Н. Клеменцами, его архивом, который некоторое время после смерти Д. А. был в моих руках, я постараюсь дополнить биографические сведения о Д. А. и, по мере сил и уменья, дам оценку этого во всех отношениях интересного человека. Я остановлюсь и на той эпохе, которую Д. А. описывает в своих воспоминаниях.

Клеменц много и красиво говорит о других, об условиях жизни и работы—и очень мало о себе. Скромность — одна из черт, присущая большим людям, а Д. А. несомненно принадлежит к числу наиболее выдающихся людей конца XIX века и первого десятилетия XX в. О Д. А. Клеменце я уже писал после его кончины в „Русских Ведомостях", „Голосе Минувшего" и в „Сборнике памяти Д. А. Клеменца". Кое-что придется повторить и из написанного ранее.

Красива, полна и содержательна была жизнь Д. А. Клеменца; велики и многоценны его заслуги в области науки и географических исследований; глубокий след он оставил в Сибири и сопредельной Монголии; удивительны и прекрасны были его дела и подвиги в общественно-революционной деятельности. В период интенсивной революционной работы Д. А. не отрекался от науки, „горел жаждой знания" и изучал геологию, математику, языки и др. науки, как и в самый разгар научных работ у него всегда находилось время и досуг служить русской общественности и содействовать успеху революционной работы. Среди революцион-

ных деятелей Д. А. был самым образованным человеком.

В лице Клеменца замечательно счастливо совместились смелый исследователь-географ, вдумчивый ученый, блестящий оратор, яркий публицист, талантливый, полный юмора фельетонист, легко владевший стихотворной формой, художник-рисовальщик и отважный, хладнокровный революционер, общественный деятель изумительной энергии и пропагандист. подчинявший себе не только народные массы, но и своих товарищей, которые должны были пропагандировать, а вместо того с увлечением слушали Клеменца, находясь под влиянием его обаятельного таланта. Жизнь Клеменца была многообразна, крайне содержательна и блестела яркими красками. Мы не ошибемся, если скажем, что на протяжении почти полувека русской жизни Д. А. был одной из наиболее крупных фигур. Где бы он ни появлялся — пильщиком ли среди деревни, разудалым рабочим на фабрике, или агитатором среди студентов и своих товарищей-революционеров, или между учеными и писателями, в дикой ли Монголии, или в широкой по своему простору Сибири, в салонах ли столицы, или в парижской Сорбонне и на берегах Женевского озера среди международной эмиграции, или на Балканах, среди добровольцев, или в ученом кабинете, в редакции больших газет и журналов — Клеменц всегда, невольно для себя, выдвигался в первые ряды и занимал центральное положение. В Д. А. все было характерно: и его несколько калмыцкое лицо, с высоким философским лбом и с чудными темными глазами, в которых светилась

бесконечная доброта и искрились блестки юмора, и правильный, красиво очерченный рот с иронической улыбкой, которая сохранилась и после смерти, и крепкая, угловатая, дышащая силой фигура, и веселый, безусловно социабельный характер, делающий из него „компанейского" человека, несмотря на всю индивидуальность его миросозерцания, резко отличающую его от окружающих. Как бы выточенная его индивидуальность не давила других: с Клеменцом было легко разговаривать и спорить; он стойко отстаивал свои положения, не поступался своим мнением и всегда внимательно, не горячась, выслушивал доводы оппонента, уважая и терпимо относясь к чужому мнению. Мягкость характера Клеменца, несмотря на стойкость его убеждений, была прямо изумительна: за 30 лет нашего знакомства я не помню Клеменца рассердившимся. В то же время, когда нужно, он оставался одинок со своими убеждениями, со своим мнением. Так не раз бывало это и в „Земле и Воле", и в ученых обществах, и в товарищеской среде, или в частной беседе. На ряду с мягкостью характера у Клеменца была еще одна черта, не часто встречавшаяся в жизни— это чрезвычайно бережное отношение к другому человеку, заботы о нем, уважение к нему и опасение сделать ему больно. Работать с Клеменцом, жить с ним было легко, потому что он умел до чрезвычайности деликатно облегчать условия работы и самую жизнь.

Люди разнообразных общественных профессий, положений и политических взглядов сходятся в оценке Клеменца. Его товарищ, революционер Л. Э.

Шишко, считает Клеменца мудрецом, мыслителем, которого, как метко замечает он, природа наделила головой, напоминающей голову Сократа. С. М. Кравчинский-Степняк в своей „Подпольной России" дает художественную характеристику Клеменца, относится к нему так восторженно, как ни к кому другому из своих товарищей. Он говорит, что „Д. А. был блестящим образчиком мыслителя, со всеми его достоинствами и недостатками".

Таким же мыслителем считали Д. А. все его товарищи — П. А. Кропоткин, Н. А. Чарушин, С. Л. Чудновский и др. Значительно позднее академик В. В. Радлов приглашает Клеменца участвовать в экспедиции, полагая, что он, как мыслитель, даст философское освещение открытым древностям. Мыслителем он встает перед нами и в Минусинском Музее, где он, можно сказать, одухотворяет музейные древности в своем научном труде и создает Минусинскому Музею мировую известность. Сам В. К. Плеве скорбит по поводу того, что „такой яркий и глубокий человек сбился с пути".

Сложная и оригинальная личность Клеменца выявлялась не только в его обширных литературных и научных трудах, но и среди живых людей, среди общества, которое входило в общение с ним, и душою которого всегда и везде он был. На эту сторону характера Д. А. указывают все его биографы. Скупой на похвалы по адресу не-сибиряков, сибирский патриот и ученый Г. Н. Потанин, учитывая влияние Клеменца на общество, не обинуясь, называет Д. А. „учителем сибирских поко-

лений". Такую же характеристику Клеменцу дает и его сибирский приятель А. В. Адрианов в своей статье „Памяти супругов Клеменц".

О большом влиянии Д. А. на общество, окружающих говорят также его биографы. Эту сторону характера пришлось наблюдать и мне. Д. А., не насилуя чужой воли, как-то умел подчинять себе людей. Против влияния Клеменца не устоял и такой упрямый и самостоятельный человек, каким был иркутский генерал-губернатор А. Д. Горемыкин, у которого Д. А. удавалось добиваться, чего не могли добиться другие, занимавшие высокое служебное положение. Просматривая письма Д. А. к различным ученым, власть имущим, к И. М. Сибирякову по поводу Якутской экспедиции и др., необходимо отметить, что в основе всех их лежат руководящие идеи мыслителя.

Обширный синтетический и аналитический ум философа-мыслителя давал Клеменцу возможность легко ориентироваться в самых разнообразных вопросах. Эта многогранность натуры Клеменца, разнообразие тех дел, за которые он брался, создали беспокойную, постоянно мятущуюся фигуру Клеменца. Всю жизнь Д. А. горел ярким огнем и не знал покоя. Он сам считал себя беспокойным: на фотографическом портрете, подаренном им мне в Иркутске, Д. А. сделал надпись: „Дорогому Ивану Ивановичу беспокойному от беспокойного подлинно. Д. Клеменц".

Разносторонность образования Клеменца, многогранность его литературного таланта напоминают мне те же черты у Н. Г. Чернышевского. Клеменц, как и Чернышевский, мог говорить по

всевозможным вопросам и на разные темы. Клеменц был даже разностороннее Чернышевского, потому что он хорошо знал и геологию, и палеонтологию, и географические и естественно-исторические науки.

Некоторые биографы говорят, что Клеменц, благодаря условиям русской жизни, не нашел себя и не дал того, что мог бы дать, благодаря своему таланту, изумительной энергии и оригинальному, вполне определенному миросозерцанию. Одни думают, что из него, при иных условиях русской общественности, должен был выйти народный трибун, политический деятель, такой же яркий, каким был во Франции его современник Жорес. Другие сожалели, что Д. А. не избрал профессорскую карьеру, и тогда Россия в лице его получила бы второго Грановского. Но не будем гадать, чем мог бы быть Клеменц „при иных условиях русской жизни“, — мы знаем, что жизнь его представляет большую ценность, — борозда, проведенная им в русской жизни, глубока, влияние его на окружающую среду было изумительно велико. Он жил и умер большим человеком, крупной величиной в общественном и научном отношениях. Он не отцвел бесследно, как многие товарищи и современники его, жизнь которых слагалась даже более благоприятно, чем скитальческая, полная опасностей, лишений и треволнений жизнь Клеменца. В эпоху 70 годов, в разгар народнического движения, как и потом, когда министерство двора пригласило Д. А. стать во главе грандиозного этнографического музея, где ему уже приходилось давать личные объяснения государю, Клеменц всегда

оставался верен себе, несмотря на удивительную гамму чисто внешних перемен в обстановке и положении, и являлся крупной фигурой, как в народническом движении, так и в кругу ученых,— с ним считались, его ценили и ему подчинялись.

Эпоха народничества наложила неизгладимые черты на все миросозерцание Клеменца, и он донес до могилы неприкосновенными идеалы этой эпохи, считая 70-е годы самой значительной эпохой в своей жизни. Вот почему, несмотря на ученые заслуги, на многогранную жизнь и оффициальный почет, Д. А. никогда не отходил от своих старых товарищей и до конца дней своих пользовался их симпатиями. И эти „старики" — Натансоны, Лянды, Лазаревы, М. Гоц, Н. Геккер, Гедеоновские, Любовец, Попов и мн. др.,—когда умер Д. А., бывший в чине действительного статского советника,—пришли проводить его или прислали телеграммы и писали некрологи, скорбя о тяжелой утрате, ими понесенной, и с любовью вспоминая „беспокойного Дмитрия Клеменца".

В основе всех исканий Д. А., в основе его революционной, общественной и научной деятельности лежала общечеловеческая правда и жажда познания. „Обладая ненасытной жаждой знания, — говорит С. М. Кравчинский про Клеменца, — он изучал все, не заботясь о том, сможет ли он извлечь из этого непосредственную пользу, или нет..." „Клеменц любит весь мир и не упускает ни одного случая принять участие в его жизни". В то же время Д. А. был в душе поэт и постоянно готов был любоваться природой, наблюдать, „как совершается эта природа". Н. А. Морозов вспо-

минает, как-то раз он с компанией был в лесу. Развели костер... Клеменц поднял с земли еловую ветку и сказал:

— „Вот мы жжем эти ветки. А между тем, сколько в каждой из них удивительного! Каждая ветка вырастает такой, какой она должна быть у ели, а не как у березы или сосны, каждая оканчивает свой рост, когда достигнет надлежащей величины, а затем отсыхает, и вместо нее вырастают новые, такие же... Разве это не чудесно?“

Разве это не чудесно, спрошу я, что человек, которого ищут, над которым висит угроза ареста и жестокой кары, отдается подобным размышлениям?

Клеменц любил природу, постоянно изучал ее, но не мыслил природу вне человека, которого также любил деятельной любовью. Среди природы поэтические образы не покидали Д. А. Помню, в горах Иро, в Монголии, среди грандиозных курганов, на которых выросли сосны, Клеменц рисовал перед нами картины далекой старины, когда лежавшие в курганах люди были живы, сражались, охотились, любили и страдали. Д. А. любил отдаваться этим размышлениям. Страстный любитель природы, профессионал-путешественник, недурной зоолог, Д. А. никогда не был охотником и считал охоту, по-толстовски, „злой забавой“. И эта черта говорит о цельности характера Д. А. Он любил природу, любил мир, потому что в центре их стоял человек, за счастье которого Д. А. рисковал собственной жизнью. Общечеловеческая правда, стремление найти тот рычаг, который поднял бы человечество на высоты счастья—вот мотивы, которыми

он руководствовался в своей жизни, в общественной и научной деятельности...

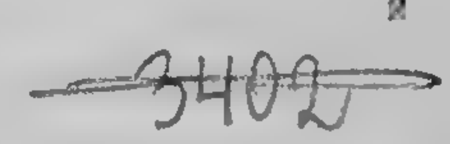
Изучая инородца, занимаясь этнографией и антропологией, исследуя неведомые страны, Клеменц руководствовался теми же мотивами, которые дали направление его революционному мышлению и сделали из него блестящего писателя-публициста и художника-пропагандиста. Его образною речью, пересыпанной богатыми сравнениями и перлами народного языка, который он знал в совершенстве,—речью, сверкающей остроумием и юмором,—увлекались его товарищи, забывая, что он говорил рабочим или народу. Он был, по свидетельству всех товарищей, идеальным пропагандистом и, как я сам не раз убеждался позднее, талантливым лектором и оратором.

На всем протяжении 70-х г.г., да и позднее, как мне говорил Ф. В. Волховской, не было более идеального и талантливого пропагандиста, чем Д. А. Клеменц.

Обладая большим ораторским талантом, Д. А. был и выдающимся писателем. Блестящее перо Д. А., оригинальный стиль, обширная эрудиция, основательное знакомство с предметом, о котором он писал, выдвигают его на видное место в русской журналистике. Если его мало знают, как публициста, фельетониста, беллетриста и даже поэта, то это объясняется тем, что Клеменц с 1873 г. уже не мог писать под своей фамилией, так как был нелегальным, а писал под разными псевдонимами. Революционная печать 70-х г.г. была полна его статьями, но он писал больше в легальных журналах, чем в нелегальной печати, „потому что,

как справедливо замечает Кравчинский, он нуждался в более обширной аудитории, чем та, которую могла доставить ему подпольная литература".

В половине 70-х г.г. Д. А. был уже хорошо известен литературным кругам столиц, как показывает его приглашение редакцией „Современного Обозрения" вести в журнале научный отдел. Это приглашение было солидной рекомендацией для молодого ученого, так как в подобных вопросах редакция советовалась с П. Л. Лавровым, который в редакции признавался наиболее компетентным судьей в оценке писателя. Значительно позднее, в 1889 г., П. Л. Лавров в беседах со мной много интересовался Д. А. и предсказывал ему большую научную карьеру. „Современное Обозрение" и ряд других изданий Тиблена внезапно прекратились, и Д. А. уже выступает в Благосветловском „Деле", со статьей научного содержания, а потом и в „Отечествен. Записках". К сожалению, мы имеем мало сведений об этом (в 70-х г.г.) периоде журнальной работы Д. А. Известно, что в это время он усиленно работал в легальной печати и после выхода „Бесов" Достоевского Д. А. напечатал в „Слове" или „Знании", а может быть и в „Деле", великолепную статью по поводу романа-памфлета. По отзыву современников,—да потом в тюрьме я читал статью,—это была одна из блестящих и беспощадных критик Достоевского. Клеменц никогда не прерывал связи с литературой. После звания революционера, ему ближе всего было звание писателя, а потом уже—ученого. В Сибири еще и теперь вспоминают фельетоны „Нургали", печатавшиеся в 80 х и 90 х г.г. в „Сибирской Газете"



и „Восточном Обозрении“. „Нургали“ был один из многочисленных псевдонимов Клеменца. Писал Д. А. и в иностранной печати. Так, в 70-х г.г. он был деятельным сотрудником „Le Travailleur“, где писали оба брата Реклю, Перрон, Гомбан, Лафранс, Мечников и др. Позднее научные статьи печатались в немецких, французских и английских журналах; он до самой смерти состоял сотрудником Большой Английской Энциклопедии.

Д. А. свободно владел европейскими языками, а позднее, в Сибири, изучил и стал говорить на монгольском и бурятском языках. Незадолго до своей смерти Клеменц получил из Бостона, от научной американской издательской организации, предложение описать мифологию сибирских инородцев, с бытом которых он был прекрасно знаком.

За все время существования нелегальной прессы Клеменц, после Герцена и Лаврова, был одним из самых видных, продуктивных и талантливых работников ее. На страницах Лавровского журнала „Вперед“, „Общины“, „Земли и Воли“ и др. то и дело появлялись его статьи, а журнал „Земля и Воля“, три №№ которого он успел проредактировать, наполовину был наполнен его статьями. Клеменц писал и стихотворения. Его перу принадлежит стихотворение „Братья, вперед! Не теряйте бодрость в неравном бою“, которое в 70-е—80-е г.г. было своего рода гимном радикальных кружков и студенчества. Он является автором „Дубинушки“, „Ох, ребята, плохо дело! наша барка на мель села!“ В 70-х г.г. им была написана получившая широкое распространение в крестьянстве песня:

„Ах ты доля, моя доля,
Ты меня ли, доля,
До Сибири довела,
Не за пьянство, за буянство,
За крестьянский мир честной...“

После кончины Д. А. я просматривал его записные книжки с различными набросками. Среди научных заметок, математических формул, рисунков и зарисовок, отлично сделанных рукой Д. А., я находил переводные и оригинальные стихотворения. Особенно богата ими книжка, относящаяся, повидимому, к тюремному периоду, заполненная стихами и иллюстрированная рисунками. Здесь— портрет Гейне, камера в крепости, рисунки цветов и стихи, оригинальные и переводные—с итальянского и др. языков. В этой же книжке я нашел несколько вариантов перевода „Шильонского узника“ [1]). Я уже выше отметил значение Д. А. Клеменца в науке, указал на его головокружительную ученую карьеру от политического ссыльного до директора „Русского этнографического музея памяти императора Александра III“, а теперь, прежде чем перейти к изложению биографии Д. А., я позволю себе привести принадлежащую перу европейски известного путешественника, ученого и геолога В. А. Обручева цитату из его статьи „Обзор путешествий Д. А. Клеменца по внутренней Азии и их географических и геологических результатов“ („Известия Вост. Сибирск. Отдела Русского Географического Общества“. Том XIV.

[1]) Весь архив Д. А. Клеменца хранится у академика С. Ф. Ольденбурга, женатого на племяннице Д. А.

1916 г.). „Из всего сказанного следует, что среди путешественников-исследователей материка Азии Д. А. Клеменц по праву занимает видное место; значение его исследований, к сожалению, уменьшается тем, что большая часть его наблюдений использована для географии и геологии Азии слишком недостаточно. Остается выразить надежду, что будут приняты все меры для спасения и обработки материалов, собранных Д. А., и что после этого значение его работ получит всеобщее признание. Но теми, кто специально занимается географией и геологией внутренней Азии, работы Клеменца уже оценены по достоинству“.

Я с целью привел эту цитату, чтобы показать изумительную разносторонность дарования и талантливости Д. А. Клеменца. И от этой разносторонности, и от всей жизни, как и от самой фигуры Клеменца, веет какой то особенной ширью. Огромный размах чувствовался в каждом деле, в которое он влагал свою душу. Эту ширь, этот размах, по свидетельству Кравчинского, Клеменц получил от „первобытного пастушеского населения волжских степей“, среди которых в деревне Горяиновой, Самарской губернии, 14 декабря 1848 года родился Д. А. Клеменц.

II.

Деревня *Горяинова*, *14 декабря* и *1848 г*, с которыми связан момент рождения Клеменца, как бы символизировали будущую деятельность новорожденного. Впоследствии товарищи не раз указывали

Клеменцу, что провидение не спроста избрало дату рождения и название места, где он родился, связав его рождение с народным горем и с теми, кто стремился облегчить это горе. (Декабристы и революционеры 1848 г.).

Фамилия Клеменц звучит по-французски. Быть может, в отдаленных поколениях предков Клеменца и были французы, но отец его был немец и служил управляющим в одном крупном имении, а мать происходила из мелкопоместных дворян. В раннем детстве Д. А., как он описывает в своих воспоминаниях, пришлось пережить „картины мелкого тиранства над горстью крепостных". Эти картины оставили неизгладимый след в душе ребенка.

„Палки, розги, плети, которые я видел в детстве и от которых я убегал, падал головой в колени матери и рыдал, так стали мне ненавистны, что я не могу взять в руки кнута, чтобы ударить уросливую (упрямую) лошадь", говорил Клеменц мне, когда я ехал с ним в сидейке на дачу в Кяхте и подстегнул пристяжку.

Самая широкая гуманность была присуща Д. А. Этой гуманностью отличались и его родители, особенно мать, хотя и отец страдал от „картин тиранства". Мягкость характера выработалась в нем под влиянием матери. Д. А. относился к родителям с большой теплотой и любовью. В записной его книжке я нашел стихотворение „Отрезанный ломоть", в котором Клеменц, едущий в ссылку, вспоминает—„Образы милые, вечно желанные"... „Тихого детства картины туманные"...

Изгнанник рвется к родителям и восклицает:

„Матушка! Рад бы рукою могучею
Тройку назад повернуть...
Рад бы слезой своей горькою, жгучею
К груди родимой прильнуть.
Только напрасно...
Лучше про сына забудь.
Нет, не дождешься ты сына, родимая,
С тем и в могилу сойдешь...

Так мать и не дождалась сына, и это обстоятельство лежало тяжелым воспоминанием на сердце Д. А. Помню, у Чарушиных умерла дочь—Лида, и А. Д. и особенно Н. А. Чарушины сильно страдали. Приехал в Кяхту Клеменц. А. Д. рассказывала ему о своем горе, и у Д. А. на глазах появились слезы. Он смахнул их рукой и смущенно сказал: „вспомнил мать... Я причинил ей не мало горя!"...

Я не буду останавливаться на картинах „мелкого тиранства над горстью крепостных",—эти драматические факты рассказаны Клеменцом в его воспоминаниях. Восьмилетним мальчиком Д. А. пережил Крымскую кампанию, видел, как дворяне „отбояривались" от войны и вместо здоровых крестьян отправляли на войну слабосильных. Пробыв недолго в Хвалынском уездном училище, с его дореформенными порядками и педагогами, Клеменц поступил в Самарскую гимназию, которая для него промелькнула светлым, но кратковременным лучем. В гимназии Клеменц учился отлично и за успехи был переведен в Казанскую гимназию, где так пороли гимназистов, что потом увозили их в больницу, а в городе говорили, что гимназистов истязают. В гимназии Клеменц пережил объявление воли, волнения крестьян в Бездне,

демонстрацию по этому поводу, панихиду по убитым крестьянам в Бездне и слышал речь Щапова. В это время Клеменц читал уже Добролюбова, заучивал наизусть стихотворения Некрасова и доказывал своим товарищам необходимость освобождения крестьян с землею и без выкупа. Самыми сильными впечатлениями из его детства, глубоко врезавшимися в память, рассказывает Д. А., были — порка крестьян, особенно одной девушки, а потом революционные песни студентов, после панихиды по убитым крестьянам в Бездне, а также казнь участников казанского заговора — Иваницкого, Черняка и др.

Общественное миросозерцание Клеменца сложилось под влиянием чтения Некрасова, Добролюбова, Чернышевского, Бюхнера и др., а также „Современника“ и Герценовского „Колокола“. Политические его убеждения в 60 х гг. близко подходили к программе „Молодой России“. Работа в деревне, куда он поехал по окончании курса в гимназии, чтобы добыть деньги для поступления в университет, полевые работы, в которых и он принимал участие, окончательно сблизили Клеменца с народом, дали направление его будущей деятельности, закрепив в нем сознание о неоплатном долге интеллигенции перед народом.

Работая в деревне, а потом, зимой, продавая на городском базаре посеянную им совместно с одним помещиком пшеницу, Д. А. продолжал читать и готовиться к университету. Через год Клеменц поступил на естественное отделение физико-математического факультета и занялся изучением философии. Уже на первом курсе прояви-

лись организаторские способности Клеменца: он основал кружок „позитивистов“ и приобрел большое влияние на студентов. За три года своего пребывания в Казанском университете Д. А. организовал несколько кружков саморазвития и создал студенческую кассу. В Казани Клеменц начал работать и в газетах.

Жизнь в Казани не удовлетворяла Д. А. Он мечтал о Петербурге, где пульс научной жизни, уже увлекший Клеменца, бился сильнее, и где легче было удовлетворить запросы молодого студента. Уже в это время он серьезно занялся геологией, которая затем заняла такое видное место в его научных работах. До Казани докатились слухи о Нечаевском деле, и перед Клеменцом встал вопрос о необходимости уплаты „неоплатного долга народу“. Преувеличенное представление о нечаевской организации окончательно решает судьбу Клеменца: он бросает Казанский университет и переводится на четвертый курс физико-математического факультета в Петербург, где, благодаря своему развитию, таланту, сразу же занимает импонирующее положение среди студенчества.

Клеменц приехал в Петербург, когда еще были слышны отголоски борьбы между нечаевцами и натансоновцами. Ореол Нечаева меркнет, и Д. А., не присоединяясь к существующим организациям, сам организует кружки, преимущественно саморазвития. На этом пути он встречается с Д. М. Рогачевым и Н. А. Чарушиным, сближается он и с М. А. Натансоном. Агитация С. Г. Нечаева в Петербурге ускорила организацию кружка чайков-

цев, в котором сплотились оппозиционные Нечаеву кружки и лица. Клеменц был в числе первых, которые вошли в центральный кружок чайковцев. Позднее он ввел туда П. А. Кропоткина.

„Вскоре после моего возращения из заграницы, в 1872 г.,—пишет П. А. Кропоткин в „Записках революционера",—Дмитрий К. предложил мне поступить в кружок, известный в то время среди молодежи под названием кружка чайковцев „Члены нашего кружка,—сказал мне К.,—покуда большею частью конституционалисты, но все они прекрасные люди. Они готовы принять всякую честную идею. У них много друзей в России. Вы сами увидите впоследствии, что можно сделать". В. Я. Богучарский в своей книге „Активное народничество" так объясняет слова Клеменца: „это навряд ли обозначало, чтобы кружок готовился к созданию партии для борьбы за конституцию,—это обозначало скорее, что члены кружка не были еще *против* конституции, т. е. не прониклись теми аполитическими воззрениями, которые сделались вскоре одной из характернейших черт активного народничества семидесятых годов. Члены кружка желали, прежде всего, работать на пользу народа, для уплаты ему долга, который тяготил их чуткую совесть, и они искали еще легальных путей для такого рода деятельности".

К началу 70-х гг. относится сближение Клеменца с либералами, и он является до известной степени посредником при переговорах между либералами и народниками. Н. А. Чарушин передавал мне, что въ декабре 1871 г. Клеменц принимал участие в совещании на квартире Н. С. Таганцева по

поводу конституции в России. На этом собрании, кроме земцев и либералов, были В. В. (Воронцов), педагог В. Водовозов, Н. К. Михайловский, и чайковцы Клеменц, Ф. В. Волховской и др. Шевич читал доклад о сущности конституции по Лассалю. В прениях участвовали главным образом Клеменц, Волховской и В. В. Было признано, что в России нет элементовъ, на которые могли бы опереться чистые конституционалисты. Интеллигенция настроена социалистически и за чистую конституцию не будет бороться. Решено было внести в программу социалистические требования и приступить к организации масс.

К 1872 г. имя Клеменца становится популярным среди студенчества. В кружке чайковцев, самой выдающейся по моральным и интеллектуальным качествам участников организации, Клеменц занимает первенствующее место. К этому же времени относится его сближение с В. В. Берви-Флеровским. Клеменц часто навещает его в Финляндии и ведет с ним споры, и они совместно обсуждают „Азбуку социальных наук". В 1872 г. после ареста М. А. Натансона и Клеменцу пришлось недолго посидеть, кажется, в Спасской части. В кружке чувствовалось его отсутствие, и товарищи обрадовались, когда он вновь появился среди них.

„Я,—пишет Кравчинский,—не знаю никого, кто имел бы такое влияние на окружающих, как Клеменц". „Я не встречал человека, который возбуждал бы к себе такую страстную привязанность, как Клеменц"...

Я мог бы без конца приводить цитаты из вос-

поминаний о Клеменце его знакомых и товарищей. Ни о ком другом авторы воспоминаний не отзываются так восторженно, как о Клеменце; ничье имя не окружено в мемуарах таким ореолом, как имя Клеменца, несмотря на то, что Клеменц часто шел против мнений всех своих товарищей, а был случай, когда по важному принципиально-тактическому вопросу он остался в кружке один—все были против него. Пользуясь исключительным влиянием, Д. А. никогда не злоупотреблял этим влиянием, никогда не насиловал чужой воли и не давил чужого мнения. „Среди своих товарищей-конспираторов,—говорит Степняк,—он (Клеменц) остался человеком". Клеменц сам готов был рисковать,—скажу больше, он любил риск, играл опасностью,—но он, как справедливо замечает Степняк, „никогда не посылал в опасность другого", предпочитая сам выполнять опасные поручения. Будучи нелегальным, Д. А. не пользовался услугами легального, если последнему грозили только неприятности, несмотря на то, что сам он рисковал головой. В этом отношении он был щепетилен до болезненности. Все знали его искренность, отвагу и изумительные до дерзости предприятия. Клеменц, который скрывается от полиции и намерен стать нелегальным, идет к прокурору, убеждает его и пытается взять на поруки А. И. Сердюкова. К счастью, прокурор только что был назначен и не знал Клеменца. Под фамилией инженера капитана Штурма Д. А. едет в Петрозаводск, где сходится с обществом, бывает у губернатора, которого так обворожил, что тот закармливает его обедами. И вот между обедами, вечерами, кар-

тами Клеменц подготовляет побег и увозит в собственной повозке ссыльного Тельца. Позднее, в имении Свечиных, куда нагрянула полиция для ареста Клеменца, он двое суток прячется в скирдах хлеба, переодевается нищим и просит у жандармов милостыню.

С 1872 и особенно после 1873 г., когда он стал нелегальным, Д. А. ведет скитальческую жизнь. Он за эти годы исколесил всю Россию. Он ведет беспрерывную пропаганду среди рабочих и крестьян, живет по деревням в качестве писаря, пильщика или кучера в имеиьи. Он вмешивается в толпы богомольцев, ходит с ними по святым местам, посещает раскольничьи скиты и там ведет споры на религиозные темы или братается с бурлаками на Волге, искусно проводя свои идеи и в разговорах, и в спорах с ними. Он изредка заезжает в столицы, как муж совета, чтобы помочь товарищам в их организационной работе или чтобы остановить молодежь от безумно-рискованных, неисполнимых предприятий,—напр., когда Кравчинский и Морозов хотели отбить арестованного Волховского. Слово Клеменца, твердое, внушительное, всегда достигало цели. При всех разнообразных положениях Клеменц всегда был на месте, и те, с кем он вел разговоры, считали его своим.

Вот как Морозов описывает свою первую встречу с Клеменцом:

„Особенно сильное впечатление произвел на меня тогда Клеменц, которого я встретил здесь (у Алексеевой) лицом к лицу лишь через несколько дней. В это время ему было лет 27, но, судя по физиономии и какой-то солидности и делови-

тости во всех манерах, разговоре и обращении,— ему можно было дать не менее тридцати. Когда в комнату к нам вошел однажды типичный симбирский мужичек в засаленной фуражке, черном кафтане на распашку, под которым виднелась пестрядинная крестьянская рубаха на выпуск, в жилете с медными пуговицами и в синих полосатых портках, вправленных в смазные сапоги,— я отдал бы голову на отсечение, что это сельский староста, только что вышедший из своей деревни и совершенно чуждый всякой цивилизации. Все в нем, от желтоватого цвета лица и окладистой бородки, до редких прямых волос, подстриженных скобкой, по-мужицки, и плотно примазанных постным маслом к самой коже головы, говорило за его принадлежность к крестьянскому званию, и только огромный лоб показывал, что этот мужичек должен быть очень умным и дельным в своей среде.

„Поздоровавшись со всеми несколько скрипучим крестьянским говором на о,—он повел речь о разных предметах, и я заметил, что его слушали с особенным уважением“...

„— Это Ельницкий. А настоящая его фамилия Клеменц. Он из привилегированного сословия. И, кроме того—прибавила Алексеева шопотом:—его более полугода разыскивает полиция,—его нужно особенно беречь“...

Приказ об аресте Клеменца был издан в конце 1874 г. И вот этот типичный „сельский староста“— Клеменц, по утверждению Кравчинского—„один из самых сильных умов, бывших в рядах русской революционной партии“. „Несмотря на деятельное участие в движении и на все превратности неле-

гальной жизни, он всегда держался на уровне интеллектуального прогресса Зап. Европы".

Очень вероятно, что после Алексеевой „сельский староста" отправился на какое нибудь ученое soirée или в редакцию научного журнала. К сожалению, мы имеем мало сведений об этом периоде жизни Д. А. Известно, что он вращался в это время в Петербурге и в Москве, кроме революционной среды, еще и в кружке талантливой университетской молодежи, отчасти еще учившейся, отчасти уже окончившей учебный искус. Из лиц, с которыми встречался Д. А., мы можем напомнить двух братьев Саблиных, — один из них известный статистик,—молодого политика-эконома и математика И. А. Гольсмита, впоследствии соредактора „Знания", А. А. Нахимова, но большинство всех этих лиц сошло со сцены. Молодежь была жизнерадостная, веселая, общительная, но и работящая. В вечерние собрания этой молодежи, где трактовались рядом и новые научные открытия, и общественные вопросы, и игра нового дебютанта на сцене, Д. А., благодаря своим разнообразным талантам, вносил не мало оживления. Нередко ему задавали приятели темы, на которые он должен был написать статьи в журналы и газеты. В это время Клеменц работал в легальных газетах и журналах, что называется, во всю и в то же время составлял нелегальные брошюры. Так, им была написана сказка „О четырех братьях". Его перу приписывали составление брошюры „Хитрая механика".

После ареста Ф. В. Волховского, которого Морозов и Кравчинский хотели отбить на улице,

приехал в Москву Клеменц. Они рассказали ему свой план.

— Да вы с ума сошли!—воскликнул он и даже весь покраснел от негодования — Каких-то испанских гверильясов хотите изображать, когда сотни шпионов рыщут и разыскивают именно вас!

Кравчинский и Морозов защищали свой план, но Клеменц, по словам Морозова, и слушать не хотел...

— Я здравомыслящий человек—воскликнул он.— Я не могу допустить вашей бесплодной гибели и медвежьей услуги самому Волховскому...

Он уехал в Петербург, куда на другой день Кравчинский и Морозов были вызваны телеграммой и получили нагоняй от кружка. В 1875 г., по настоятельной просьбе товарищей, опасавшихся за его судьбу, Клеменц уезжает заграницу. В Берлине он знакомится с вожаками социал-демократов, увлекается лекциями Гельмгольца, дебатирует с Дюрингом. В Париже он изучает математику, сближается с Бертраном и Жомини, работает в Зоологическом саду по естествознанию и в то же время занимается философией. Его письма к товарищам в России полны отчетами о лекциях, научных открытиях и т. п. „Мне, пишет Кравчинский, стоило больших усилий отделаться от его отчетов о них (лекциях Гельмгольца), которыми он наполнял все свои письма ко мне в Петербург. Широта его взглядов нисколько не уступает жажде познаний“.

Отчасти эта широта взглядов, обширность познаний Клеменца и его яркая индивидуальность были причиной того, что он не укладывался в рамки партий.

Обладая большим наблюдательным талантом, Клеменц дает верные и яркие характеристики не только отдельным лицам, но и целым народам. Так, Францию Мак-Магона он назвал „республикой без республиканцев" и по этому поводу обменивался взглядами с Г. И. Успенским, который приехал тогда в Париж и не понимал его. Клеменц отчасти соглашался с Г. И., которому тогдашняя политика казалась чем-то поверхностным и даже не интересным. „Блестящая гнилушка", так Г. И. определял тогдашний Париж. „Народник, но без народнических предрассудков и сантиментальностей,— пишет Д. А. про Успенского в какой-то статье или наброске ее, который я нашел в его архиве,— он думал и ждал чего нибудь существенного только от тех слоев общества, которые рисовались ему то в образе черного Монмартра, то в виде двух подростков рабочих. Шумевшие, суетившиеся, обделывающие свои делишки представители Франции с их кафе-шантанами казались ему чем-то изжившим, что надобно изучать среди выродков, которых поят на бойне свежей бычачьей кровью, так как своя кровь уже вся превратилась в гнойную сыворотку".

Среди мировой эмиграции в Париже и Женеве Клеменц занимает видное место, ведет бесконечные дискуссии с Э. Реклю по вопросам географии и геологии, взбирается на горы за интересными геологическими и минералогическими породами и посылает в Россию, кажется Гольдсмиту, статью в защиту свободы мысли, которая, по цензурным условиям, не увидела света. „Свобода мысли и в новом XIX веке считается одним из драгоцен-

нейших наследий прошлого. Пусть защиту свободы мысли считают трюизмом, всюду всем давно известным, даже устарелым; но пусть там, где ее нет, выдумают что-нибудь новое взамен этого принципа. Пусть укажут нам какой-либо иной способ решения какого-либо вопроса, кроме всестороннего исследования его и критики этого исследования. Ведь защитники обуздания мысли не только не сказали ничего нового в пользу своих взглядов, но и не заботились об этом...“

В заключение Клеменц спрашивает: „имеем ли мы возможность знать интересы, стремления и нужды данной минуты, без посредства свободного обмена мыслей?“

Полно, живо и интересно жил Клеменц заграницей, находясь в деятельной переписке с товарищами на родине. Вот эта-то родина и не давала покоя беспокойному любовью к ней Д. А. А тут еще сообщения о восстании в Боснии и Герцеговине... Несмотря на все опасности, он опять на родине, в гуще революционных дел и журнальной работы. Он опять колесит по России. На Урале он окончательно решает ехать в Боснию и Герцеговину. Он наскоро ликвидирует дела и спешит в Сербию, чтобы принять участие в борьбе с турками. В Белграде он быстро завоевывает всеобщее уважение, ему предлагают командование отрядом добровольцев. Но добровольцы производят на Клеменца и на его друга Г. И. Успенского, с которым он встретился в Белграде, скверное впечатление—„настоящая шушера“, даже, „отрепье“,—так в разговорах Клеменц охарактеризовал добровольцев. Он оставляет Белград и вместе с Грачевым,

рискуя жизнью, пешком, пробирается в Черногорию. Но заключено перемирие, и Клеменц без гроша денег едет в Женеву и Париж, быстро завоевывает положение, сотрудничает в журнале „Вперед", пишет в иностранных газетах, работает в музеях и Сорбонне и посылает статьи в Россию. В Париже он просматривает, исправляет и даже переделывает брошюрки для народа и между прочим свою сказку „О четырех братьях".

В 1877 г. в отсутствие Клеменца из России, как пишет в своей книге „Земля и Воля" А. В. Аптекман, „завершилось формальное присоединение харьковско-ростовского кружка к кружку петербургских революционеров-народников". Так образовалась „Северная революционно-народническая группа", известная уже со второй половины 1878 года под именем Общества „Земля и Воля". В основную группу, состоявшую при возникновении из 26-ти человек, был в том же году кооптирован Д. А. Клеменц, все еще находившийся заграницей. Группа развила энергичную деятельность. А. И. Зунделевич поставил „Вольную Русскую Типографию". Группа приняла необходимые меры для издания партийного журнала, которому решено было дать название „Земля и Воля". Клеменц и Кравчинский намечены были редакторами, и их вызвали из заграницы.

Клеменц приезжает и берет в свои руки ведение партийного органа. Кравчинский и Морозов уступают ему первенство. Как редактор, Клеменц печатает то, что считает необходимым, и в то же время не сходит с принципиальной почвы. Н. А. Морозов желал поместить свою статью о попытке освобождения П. И. Войноральского.

— У меня есть более нужная статья—отповедь либералам за их конституционные пожелания,— сказал Клеменц.

Когда же Морозов заметил, что он пошлет свою статью к Ткачеву в „Набат", Клеменц, пишет Морозов, „весь покраснел, как будто ему нанесли личное оскорбление, и, вскочив со стула, начал бегать из угла в угол по комнате, нервно потирая руки".

— Как,—воскликнул он,—ты будешь сотрудничать в якобинском журнале, в журнале, проповедующем революционный захват власти?

Далее Клеменц развивает Морозову взгляд на русскую революцию и доказывает, что у нас капитализм прививается правительством, но буржуазная республика для нас хуже самодержавия, потому что она умнее. Он не может допустить, чтобы Морозов оказался сотрудником „Набата", берет его статью и разражается страстной филиппикой против того, чтобы парижских болтунов считали „страдальцами на кресте". „Пусть они приедут сюда и покажут, что готовы не только призывать других на смерть за идеи, но и сами, как мы, идти с ними,—тогда я ничего тебе не скажу. Сотрудничай и у них, если захочешь!"...

В этой тираде вылился весь Клеменц, никогда не понимавший, что можно рисковать чужой жизнью и счастьем, а самому оставаться в безопасности. Вот почему Клеменц, когда осужденные на каторгу по процессу 193-х напечатали в заграничной „Общине" свое „Завещание", отвечает им статьей „По поводу завещания" за полной своей подписью. Статью он закончил словами:

„Ни казни, ни осадные положения не остановят нас на пути исполнения завещания наших товарищей—и оно будет исполнено".

Клеменц понимал, что только тот, кто рискует своей жизнью, имеет право так закончить клятву-статью, а не эмигрант, находящийся за пределами досягаемости. Он шел еще дальше, доказывая, что заграничные журналы нельзя называть органами русских революционеров, „так как посторонние люди могут подумать, что это их партия производит все то, что мы теперь делаем".

В этих словах не было придирчивости, а только одно требование истины, справедливого отношения к действительности. Клеменц не отрицал важности и необходимости заграничной нелегальной печати, которая на свободе должна разрабатывать разные принципиальные и тактические вопросы. Он сам не мало писал в Лавровском „Вперед", в „Общине" и др.; но в последнее свое пребывание в России Клеменц всецело отдался „Земле и Воле". Он заполнял большую часть журнала, вел письма „благоденствующего россиянина" и писал передовые статьи, в которых откликался на вопросы злобы дня. Вспыхивают студенческие волнения—и Клеменц пишет в „Земле и Воле": „Не правы ли мы были, когда в воззвании „Ко всем, кому ведать надлежит" (это воззвание, как говорит Аптекман, принадлежит перу Клеменца) предрекали, что скоро будут душить и резать студентов на улицах?" В статье дается студентам совет „не останавливаться на полдороге"—„все жертвы рискуют теперь пропасть даром, а между тем, при настойчивости, можно добиться кое-каких результатов".

В этой статье, как справедливо замечает Аптекман, прорываются угрожающие нотки, слышен призыв к борьбе с правительством: „имеет ли она (молодежь) теперь право своим судом вешать на осину таких бешеных собак, как Зурова [1]) и Мартенса“.

Сообщение об аресте Дубровина и Бобохова „Земля и Воля“ заканчивает словами: „и так уже многие жертвы ждут своего отмщения, много злодеев избежало суда. Дальше так продолжаться не может!“ В № 2 „Земли и Воли“ Клеменц является пророком и предсказывает террористическую борьбу. „Море спокойно, только свежий ветерок весело надувает паруса, но над кораблем уже с зловещим криком носятся чайки-буревестники— и моряк знает, что будет буря, хотя и не чувствует ее“. „И буря, пишет по этому поводу Аптекман, разразилась... 24-го января 1878 года раздался выстрел В. И. Засулич“. Обер-полицеймейстер Ф. Ф. Трепов опасно ранен. Высеченный по его приказу Боголюбов отомщен. В. И. Засулич судят—и оправдывают. „Вольная русская типография“ выпускает прокламацию — „ко всем честным людям“, при ближайшем участии Клеменца. Д. А. постепенно подходит к тактике народовольческой борьбы и в № 2 „Земли и Воли“, в статье, посвященной цареубийцам — Геделю, Нобилингу, Минкуси и Пассаменте, выясняя смысл событий, взволновавших весь мир, про-

[1]) Обер-полицеймейстер Петербурга, устроивший избиение студентов после сходки в анатомическом театре Мед.-Хирургич. Академии.

водит параллель с террористическим актом 1878 г. в России.

„Ответственность за смертную казнь преступников в России открыто и явно брала на себя социально-революционная партия. Она не только признавала совершившиеся факты, заявляла заранее о своих приговорах и давала предостережения, но и объясняла всегда мотивы своих приговоров перед публикой“. „Русские революционеры ясно высказывали, что к смертной казни они прибегают лишь для спасения жизни и свободы своих собратий, для избавления их от чрезмерных страданий, и когда требует этого спасение чести партии...“

Объясняя необходимость террора, Клеменц вместе с Кравчинским предостерегает от увлечения этого рода борьбой.. Клеменц предостерегает не только от увлечения террором, но относится с укоризной к „Северно-Русскому Рабочему Союзу“, который прямо и категорически заявил, что нельзя относиться отрицательно к политической борьбе, а необходимо вести и политическую, и экономическую борьбу параллельно.

Только что приведенный пример показывает, насколько догматичен и верен был народнической программе Клеменц и др. землевольцы. Но, замечает Аптекман, „иное дело теория, иное—практика“, и в № 1 Листка „Земли и Воли“ приходится уже констатировать „симптомы быстро обостряющейся революционной борьбы“. „Покуда ты (русское общество) будешь спать, тебе не раз придется принимать участие в единственно дозволенном тебе деле — похоронах высокопоставленных особ“.

Несмотря на такое сравнительно яркое высту-

пление за оправдание террора, Клеменц в партии горячо спорит с товарищами против нового направления тактики, оставаясь верным, принципиальным народником-пропагандистом и социалистом. В некоторых дискуссиях он бывал абсолютно одинок и не сдавался. Такая его оппозиция нисколько не портила к нему отношений товарищей, которые всемерно дорожили им и возражали против его экскурсий в деревню и к рабочим, желая сберечь Клеменца. Но при всей осторожности Клеменц играет опасностью. Сам привлеченный к Большому Процессу—он проникает в зал заседаний, лично следит за процессом В. И. Засулич, а когда ее освобождают, то помогает ей скрыться. А в Петербурге говорят, что „Клеменц был кучером кареты, в которой уехала Засулич, освобожденная из тюрьмы". Но он не был кучером, а действительно принимал участие в организации увоза В. И.

Клеменц много пишет и переводит с иностранных языков для легальных газет и журналов, становится сотрудником „Отечественных Записок", сближается с литературными кругами, дружит с Г. И. Успенским и Н. К. Михайловским и ездит в Москву повидаться со своими учеными друзьями. К этому времени относится его знаменитая статья по поводу „Бесов" Достоевского.

Д. А. ведет скитальческую жизнь и ночует то у доктора О. Веймара, то у земца Александрова или у кого-нибудь из своих знакомых „либералов"—адвокатов, писателей и ученых. Полиция тщательно разыскивает его. Еще в 1875 г. был отдан специальный приказ об аресте Дмитрия

Клеменца. Он счастливо избегал опасности. Но в начале весны 1879 года был нанесен, как говорят почти все землевольцы, „Земле и Воле“ большой удар—Клеменца арестовали.

Незадолго до его ареста приезжал из Москвы в Петербург рабочий—Рейнштейн, который потом оказался провокатором и был убит. Рейнштейн добивался увидеть кого-нибудь из редакторов „Земли и Воли“ и с этой просьбой обратился к студенту Исаеву. Клеменц, как пишет Морозов, отказался идти на свидание. Исаеву посоветовали самому назваться редактором и узнать, что нужно Рейнштейну. Исаев поручил обделать дело своему товарищу Олсуфьеву. Рейнштейн ничего существенного не сообщил. Через две недели, ночью, к Морозову прибежал знакомый морской офицер Луцкий и сообщил, что какой-то полицейский чиновник только что был у него и предупредил о том, что арестовали вольную типографию, там устроена засада, а в этой типографии будто бы должно быть в 7 час. утра собрание революционеров. Оказывается, как потом выяснил Клеточников, все это было подстроено в надежде, что люди побегут предупреждать и наведут полицию на след типографии и квартиры редакторов. Зная, что Клеменц встает поздно, Морозов только утром отправился предупредить Клеменца и попал в засаду, но успел скрыться. Клеменц был арестован, а типография осталась цела. Арест Клеменца произошел независимо от типографии. Клеменц жил у видного и богатого земского деятеля Александрова. Явились жандармы. Клеменц держит себя с изумительным хладнокровием. Обыск не дает результатов, и жан-

дармы начинают сомневаться, что перед ними стоит Д. А. Клеменц; но в диване находят нелегальные издания и архив „Земли и Воли“.

— Что это значит?—спрашивают у Клеменца.

— Вал переменили в органе, —спокойно отвечает Д. А.

Клеточников выяснил, что аресты Клеменца, Буха, Остафьева и др. произошли благодаря Рейнштейну, который за тысячу рублей обещал московскому жандармскому полковнику открыть редакцию „Земли и Воли“ [1]).

Жандармы торжествовали, что захватили такую крупную рыбу, как Клеменц, которого они разыскивали четыре года.

„Правительство, говорит Аптекман, нанесло (партии) чувствительный удар,—оно вырвало из наших рядов одного из выдающихся наших товарищей, одного из самых талантливых редакторов нашего органа „Земля и Воля“ — Дмитрия Клеменца“.

26-го февраля в Москве убили Рейнштейна. Исполнились слова М. Попова, который после ареста Клеменца сказал: „надо, чтобы тысяча рублей этого негодяя обошлась ему дорого... Я сам поеду в Москву отомстить ему!..“.

Товарищи Д. А. опасались за судьбу и даже за жизнь Клеменца, которого заключили в Петропавловскую крепость. В крепости он читает, занимается, держит себя с замечательным хладнокровием и достоинством и располагает к себе сле-

---

[1]) Подробности см. „Повести моей жизни, т. IV. Н. А Морозов“.

дователей. На допросах он шутит, излагает целые научные теории и гипотезы, увлекая своими широкими познаниями, ярким умом и бесконечным юмором жандармов. Немудрено, что сам Плеве, допрашивающий Клеменца, сожалеет, что такой яркий и глубокий человек „сбился с пути“. Долгие месяцы заключения благоприятно отразились на судьбе Клеменца. Пропагандистская, агитационная и литературная деятельность Д. А. побледнела перед последующими революционными событиями. В то же время из дела Клеменца, благодаря Клеточникову, служившему в III отделении, исчезли вещественные и документальные доказательства — весь портфель с архивом „Земли и Воли“, служивший главной уликой против Клеменца. Несомненно, огромный ум, широкие познания, талантливость, терпимость и веселый нрав Д. А. расположили к нему следователей. Из крепости его перевели в Дом Предварительного Заключения, а дело решили без суда, в административном порядке. Клеменца приговорили к ссылке на 5 лет в Восточную Сибирь, в г. Минусинск.

Период активной революционной деятельности у Д. А. закончился. Позднее, когда я встретился с Клеменцом, он любил возвращаться к воспоминаниям об этом периоде и рисовал перед нами образы Перовской, Желябова, Рогачева, Кравчинского и мн. др. и их смелые, часто дерзкие деяния, скромно умалчивая о своих подвигах. При рассказах глаза Д. А. нередко затуманивались слезой, которую он стыдливо сбрасывал. Мы уговаривали Д. А. записать все эти рассказы... И только под конец своей жизни он принялся за

воспоминания, которые так и не успел закончить...

— —

III.

Осенью 1881 года на арестантской барже, которую тащил по Оби вверх, против течения, пароход „Коссаковский", сошлись три друга — один в кандалах и арестантском халате, а двое других — в своем платьи. Это были Ор. Э. Веймар, А. И. Иванчин-Писарев и Д. А. Клеменц. Веймар шел на Кару в каторгу, а Писарев и Клеменц — в Минусинск. Все они отличались удивительной бодростью духа, веселостью и являлись душой арестантской партии. После Томска друзья дошли вместе до Красноярска, и в конце года Клеменц прибыл в Минусинск, где вскоре сошелся с минусинским обществом.

В это время в Минусинске провизор Н. М. Мартьянов организовал замечательный музей, который прославил Минусинск во всем мире. Но тогда, до Клеменца, этот Музей был мало известен даже в Сибири.

„Образцовый, изумительный коллектор и организатор Музея, Мартьянов в Клеменце, пишет А. В. Адрианов, получил необходимое дополнение для того, чтобы создать то „чудо", которое приобрело известность в умственных центрах не только Европ. России, а и Западной Европы, вызвав командировки в Минусинск и его уезд, для изучения древностей, отдельных ученых и целые экспедиции".

Минусинский край—классическая страна древностей—дал богатый материал археологическому отделу Музея. Клеменц, подружившийся с Мартьяновым, принялся за изучение археологического отдела, проделал кропотливую работу и воодушевил мертвые остатки старины, дав подробное описание коллекций и предпослав этому описанию блестящий исторический очерк края, для чего пришлось ему изучить литературу и проштудировать источники. „Древности Минусинского Музея" — книга, написанная Клеменцом, составила, как говорит автор исторического очерка музея за 25 л. Ф. Я. Кон, выдающееся событие в жизни Минусинского музея. Книга произвела большое впечатление в мире ученых.

„Издание ваше, пишет непременный член Академии Наук после выхода книги Клеменца—превосходно и по ученому тексту г. Клеменца, и по отличному исполнению фотогравюры Шерера и Набгольца, а обстоятельный каталог металлических древностей музея открывает для археологов такое богатство коллекций любопытных и поучительных предметов, что может с честью выдержать сравнение с лучшими изданиями этого рода у нас и заграницей". Еще более похвальный отзыв дают о книге Клеменца гр. П. С. Уварова, В. Г. Тизенгаузен, Венюков, Иордан и др. русские и иностранные археологи, а Martin, шведский археолог, отозвавшийся восторженно о книге, приехал в Минусинск, чтобы на месте изучить древности, которыми заинтересовал его Клеменц.

Так блестяще дебютировал Д. А. Клеменц своим научным трудом в Сибири. Мартьянов создал

музей, а Клеменц популяризировал его и пограничную полосу Монголии с Россией в научном мире и заграницей. С Минусинского Музея началась научная деятельность Д. А., а с „Древностей Минусинского Музея“ началось печатанье его многочисленных научных трудов.

Клеменц стал деятельным товарищем Мартьянова по работе в Музее и явился деятельным ученым собирателем коллекций. В 1883 г. он вместе с А. В. Адриановым совершает ученую экскурсию на Алтай, за Саяны. Он так подготовился к этой экспедиции, что, по свидетельству самого Адрианова, Д. А. стал фактически главой экспедиции. В следующем году, уже на средства Географического Общества, Д. А. вместе с политическим ссыльным—инженером А. И. Венцковским—совершает трудную экспедицию в верховья Абакана. В самом Минусинске Д. А. будит интерес к изучению местного края, является первым краеведом в настоящем смысле этого слова. Он с первых же шагов своей сибирской жизни задался целью приспособить к изучению Сибири невольную сибирскую интеллигенцию, среди которой у него было не мало товарищей. Благодаря Клеменцу многие из политических ссыльных занялись научными исследованиями и смягчили тяжелые условия своей ссыльной жизни.

В течение 15-ти лет, из года в год совершая экскурсии и путешествия по Сибири и Монголии, занимаясь такими несходными дисциплинами, как археология и геология, Клеменц собирает материалы и по другим отраслям знания, делясь своими открытиями с учеными обществами и знакомя

с ними широкие слои общества через газеты. В короткое время Клеменц создает себе репутацию ученого географа и отважного путешественника, которого можно поставить в одном ряду с Пржевальским, Потаниным, Певцовым и др. Д. Н. Анучин, В. А. Обручев, Г. Н. Потанин, финляндцы—Аспелин, Гейкель и др.—высоко оценивают научные труды и работы Клеменца и подчеркивают, что Д. А. никогда не был шаблонным исследователем и бытописателем. Клеменц переносится с необычайной легкостью из Минусинска в Томск, из Томска в Красноярск, а потом в Кяхту и Ургу, колеся по Монголии, а потом опять забегает в Минусинск, чтобы изучить новые коллекции в Музее, а там, глядишь, он и в Якутске, где организует на средства И. М. Сибирякова обширную экспедицию для изучения якутов. Переезды в тысячу и более верст в телеге, двухколеске или верхом на лошади для него не представляют затруднений, как и ночевки под открытым небом и в палатке при морозах, в течение многих дней. Отвага Клеменца, как путешественника, известна его спутникам и в Сибири. Как во время революционных дел, так и во время путешествий, он никогда не терялся. Однажды сойоты проводники напали на него и его спутника. Путешественники отбились, но остались в глухой тайге, среди горных хребтов Саян, без проводников. Д. А. не унывает и только экономит „с жадностью Плюшкина спички". Он шутит со своим спутником и по компасу. солнцу и ветвям сосен и елей выходит из глухой тайги. Другой раз он вплотную встретился с медведем. В руках у него был дробовик.

— Я вспомнил, что зверю нужно в упор смотреть в глаза, и я устремил в него пронзительный взгляд, держа наготове дробовик,—рассказывал Клеменц.—И что же?—Зверь стал пятиться и ушел, а я вздохнул свободно, вспомнив, что за поясом у меня есть револьвер. Положим, если бы зверь стал нападать, то я пустил бы в ход и револьвер.

Встречи Клеменца с бродягами, быть может и лихими людьми, всегда кончались едой и чаепитием и веселыми разговорами у костра.

У качинских татар высится утес Иней-Тас (в переводе „бабушка-камень"), напоминающий закутанного в плащ человека. Ни один татарин не осмеливается приблизиться к этому утесу из праздного любопытства; жестокая кара ждет того, кто допустит к утесу человека иной веры. Иней-Тас — дух, покровительствующий стадам. Перед утесом, на площадке, стоят фигуры лошадей, коров, коз. Упадут фигурки—быть беде: падеж скота неминуем. В одну из лунных ночей, осенью, Клеменц приезжает к утесу с русским рабочим, пьет чай у татар, а потом с рабочим идет ночевать в поле к лошадям.

— А то забредут, не найдешь,—говорит он татарам.

Под утро он просит рабочего покараулить лошадей, а сам идет, якобы, собирать камни, а в действительности взбирается на утес, исследует его, берет породы камня, кладет в карманы жертвенные статуэтки, а упавшие ставит так, чтобы они никогда не падали и не предвещали мора на скот, а под утро он уже был у лошадей.

— Замешкался, искал ветку черной березы и

нашел ее,—так он объяснял свое долгое отсутствие своему спутнику-рабочему, чтобы тот зря не болтал.

Клеменц пользовался широкой популярностью и почетом у минусинских татар, как человек, побывавший на вершинах Абакана, где живет Мордохан, один из семнадцати благожелательных для людей духов ханов. Конечно, не одно пребывание создало Клеменцу эту популярность, а уменье подойти к человеку, заинтересовать его, поговорить о его нуждах, поднять в защиту угнетенных голос или написать об их житье корреспонденцию. Инородцы, крестьяне, горожане и, особенно, провинциальные, сельские и инородческие власти ощущали перед газетой, корреспонденцией уважение и даже трепет. Все знали, что Клеменц ученый, пишущий человек, да еще „государственный" (государственный преступник), который стоит за правду и справедливость. Все относились к Клеменцу с особым уважением, а мелкие власти даже с подобострастием.

Из Минусинска Д. А. начал писать в „Сибирскую Газету" в Томске и сразу же сделался ее главным сотрудником. Он писал и передовые, и научные статьи, фельетоны, рецензии на книги и т. д., не избегая вопросов областничества и являясь сторонником его. В Минусинске, как и в других городах, он близко сходился с местным обществом. Его наперерыв приглашают в разные дома, и он всюду желанный гость. К слову сказать, Д. А. отлично играл в классический винт. До 1884 г. в Минусинске в ссылке жил брат его друга П. А. Кропоткина, А. А., с которым Д. А. ведет нескончаемые разговоры по философии и астрономии.

В 1884 г. в Минусинск приехала только что окончившая Бестужевские курсы Елиз. Ник. Зверева, дочь золотопромышленника, потом разорившегося. Е. Н. воспитывалась в Казанском институте, откуда была выпущена воспитательницей. После смерти отца она поселилась у тетки в Красноярске и давала частные уроки, а потом была гувернанткой у детей томского губернатора Супруненко. В Томске Е. Н. давала уроки в женской гимназии. Отец, тетка, а также и Е. Н. были близко знакомы с политическими ссыльными. Скопив небольшие деньги, она уехала на Бестужевские курсы, по окончании которых была приглашена в Минусинск на место начальницы гимназии. Е. Н. уже знали, как хорошего педагога.

Е. Н. быстро завоевала симпатии учениц и их родителей. В гимназии она завела новые порядки, стала устраивать чтения, елки, спектакли, водила учениц в музей, где и познакомилась с Д. А. Клеменцом. Знакомство перешло в симпатию, и в 1886 г., перед отъездом в Томск, Клеменц был помолвлен с Е. Н.

В Томск Д. А. пригласили работать в „Сибирскую Газету", где он встретил своих старых товарищей и знакомых—Ф. В. Волховского, С. Л. Чудновского, А. А. Кропоткина, К. М. Станюковича, а также кружок местных интеллигентов во главе с А. В. Адриановым. Клеменц стал главной силой в газете и много способствовал оживлению газеты. Проработав зиму в Томске, он весной заезжает в Минусинск, забирает Е. Н. Звереву и отправляется в экспедицию в Урянхайский край и на раскопку большого Уйбатского кургана.

Дорогой они повенчались на приисках у знакомых, и с тех пор Е. Н. стала непременной участницей всех экспедиций Д. А., часто совершая их верхом. В этих экспедициях она, как ботаник, гербаризировала растения, собирала шкурки животных, вела метереологические наблюдения и являлась настоящей помощницей Д. А.

После женитьбы Клеменцы обыкновенно зиму жили в Томске или Иркутске, а летом отправлялись в экспедицию с тем, чтобы зимой обрабатывать материалы. В Томске, в Иркутске и позднее в Петербурге дом их всегда был полон разным народом—ссыльные, ученые, сибиряки, инородцы и молодежь.

Осенью 1886 г. я познакомился с Клеменцами. Они возвращались через Кяхту из научной экспедиции в Монголию. Они остановились у старых приятелей Д. А., чайковцев А. Д. и Н. А. Чарушиных. Д. А. произвел на меня большое впечатление и знаниями, и жизнерадостностью, и веселым характером. Я сидел и только слушал, как Клеменц и Чарушины, после 13 лет разлуки, вспоминали первые годы народничества, кружок чайковцев и своих товарищей, которых Клеменц рисовал замечательно колоритно. Д. А. перезнакомился с кяхтинцами, обворожил их, играл с ними в винт, и он оказался не худшим игроком в винт, чем сам Н. Л. Молчанов, стоявший вне конкурса. Д. А. смеясь рассказывал, что К. М. Станюкович в Томске только с ним и играет в „Бисмарка“, а всех остальных называет „сапожниками“. Клеменцы вошли в наши местные интересы, заинтересовались нашей общественной би-

блиотекой и помогли нам в организации местного музея. Клеменц прочел лекцию „Местные музеи", сбор с которой был первым взносом в музейный фонд. С сожалением мы проводили Клеменцов в Томск, но туда они попали только после Рождества, остановившись в Иркутске, Красноярске и заехав в Минусинск.

Весной 1888 г. Клеменцы уехали в экспедицию в Ачинский и Канский округа. В их отсутствие, по ходатайству попечителя округа В. М. Флоринского, четыре министра в момент торжественных празднеств по случаю открытия Сибирского университета закрыли „Сибирскую Газету", боясь ее вредного влияния на студентов. Клеменц лишился интересного дела, без которого жить ему было трудно. Н. М. Ядринцев усиленно стал звать Д. А. в Иркутск, чтобы работать в „Восточном Обозрении". В то же время „Восточно-Сибирский Отдел Русского Географического Общества" пригласил Клеменца быть консерватором музея и избрал правителем дел Отдела в тех видах, что Клеменц оживит жизнь Отдела. Клеменц принял приглашение и вместе с Е. Н. переехал в Иркутск и поселился в доме Музея.

Клеменца уже знали в Иркутске. Он быстро становится центральной фигурой в Иркутске, хозяином Географического Отдела и соредактором Ядринцева в „Восточн. Обозр.", где „Нургали" (Клеменц) повел злободневные фельетоны, которыми зачитывалась публика. Ко дню 40-летия Отдела Клеменц составил блестящий отчет о деятельности Отдела, завел систематическое объяснение коллекций, заставил членов Отдела читать.

доклады, организовал ряд экспедиций и вообще, как впоследствии при его проводах говорил на банкете председатель Отдела В. П. Сукачев, „проявил высокоталантливую деятельность, всюду вносил всестороннее знание дела, уменье справиться с ним, провести его в жизнь и других увлечь своей работоспособностью“.

Ген.-губернатор А. Д. Горемыкин ценил Клеменца. По положению покровителя Отдела, каковым по Уставу Отдела Географического Об-ва был генерал-губернатор, у Горемыкина с Клеменцем, как правителем дел, были частые дела. Горемыкин любил заходить в Отдел поболтать с Клеменцом, а однажды сконфуженно просил Д. А. „не сердиться и принять на память от него (Горемыкина) эту безделицу“ — Горемыкин поднес ему золотые часы, на крышке которых эмалью была изображена тройка...

— Вот оборвусь на чем нибудь, опять политически скомпрометируюсь — и меня, раба Дмитрия, на подобной тройке тот же Горемыкин отправит на север... Спасибо за напоминание!.. шутил Клеменц.

В 1891 г. Клеменц отправился в экспедиции академика В. В. Радлова в открытый в 1889 г. Ядринцевым Каракорум, построенный преемником Чингиз хана Окатаем на месте древнего тюркского Хара-Балагасуна. В экспедиции он играл видную, даже первенствующую роль. Радлов говорил мне, что такого талантливого, энергичного, всестороннего, знающего и веселого работника он еще не встречал.

— Не я, прибавлял Радлов,—руководил Кле-

менцом, а он руководил всеми нами (Ядринцевым, Радловым, топографом Щеголевым и др.). Без него мы не сделали-бы и половины нашей работы. Он подбадривал нас, и работать с ним легко, при том-же он чрезвычайно практический человек..

Эта практичность Д. А. сказывалась и при организации экспедиций, и в путешествиях, и в работе по музею и географическому Об-ву. После Клеменца я занял место консерватора музея и не раз исполнял обязанности правителя дел и должен признать—все было налажено Клеменцом

В конце 1893 г. Клеменц едет в Якутск организовать на средства И. М. Сибирякова экспедицию для исследования Якутской области. Ему нужно было преодолеть упрямство генерал-губернатора А. Д. Горемыкина, который вначале был против участия в экспедиции политических ссыльных. Клеменц-же составлял экспедицию почти из одних ссыльных. Он сломил упрямство генерал-губернатора, а потом в Якутске — губернатора. В письме к И. М. Сибирякову он характеризует приглашенных в экспедицию политиков — Виташевского, Иохельсона, Богораза, Левенталя, Майнова и Пекарского.

За все время пребывания в Сибири, а потом в Петербурге, Д. А. никогда не порывал связей с своими товарищами по ссылке, и всегда они были у него, так же, как и он у них, желанными гостями. В 1889 г. Д. А. живо реагировал на Якутскую и Карийскую трагедии, в течение долгого времени скорбел истинным горем. После

амнистии в 1905 г. он один из первых перевел из Петербурга в „Восточное Обозрение“ деньги для возвращающихся ссыльных. После Якутска Клеменц оставляет обязанности Правителя дел и, по поручению Академии Наук, уезжает на два с половиной года в Монголию. Обосновав главную квартиру в Урге, Д. А. горячо принялся за исследование Монголии. Иркутяне устроили ему сердечные и торжественные проводы.

„Может быть, вы спросите,—пишет он в марте 1894 г. И. М. Сибирякову,—почему я оставляю Иркутск, Отдел и газету („Восточное Обозрение“). Ответ один—устал. Все время мое принадлежало Отделу и другим. Теперь думаю поработать для себя и покончить со своими работами. Зимовать я буду в Урге и там по зимам буду кончать старые работы“.

„Мое время принадлежало другим“—эта фраза совершенно справедлива: квартира Клеменцов всегда была полна народом; время его было заполнено различными хлопотами, ходатайствами, заботами, как укрыть бегущих ссыльных, собраниями и проч. Только кабинет в Отделе был неприкосновенен, и никто туда к нему не ходил, если Д. А. работал там. Но и в Урге он думает о других... Меня завалил письмами, торопя, чтобы я скорее ехал в Иркутск, взял консерваторство в музее, оставшееся после Н. П. Левина и Клеменца вакантным, а главное—брал-бы в свои руки газету „Восточное Обозрение“. В мае я был уже в Иркутске, и Д. А. пишет мне чуть-ли не еженедельно письма, давая полезные советы и делая указания, как по музею, так и по газете.

Д. А. и Е. Н. прожили в Монголии включительно до 1896 г., а в 1897 г. Клеменц принимает деятельное участие в Забайкальской экспедиции ст.-секретаря Куломзина. Ученые заслуги Д. А. Клеменца, известные всему ученому миру, были настолько значительны, что когда открылась должность ученого хранителя при академическом музее антропологии и этнографии в Петербурге, он получает приглашение занять эту должность и вскоре-же назначается старшим этнографом при Академии Наук.

В Петербурге Д. А. близко становится к редакции „Русского Богатства", где хозяйственной частью заведывал его старый друг А. И. Иванчин-Писарев. Михайловский и Короленко ценят советы Д. А., а на четверговых собраниях „Русского Богатства" Н. Ф. Анненский и Д. А. Клеменц конкурируют в остроумии. Квартира Клеменцев, вначале в Академии Наук, а потом на Б. Садовой, в здании музея Александра III, как некогда квартира Ядринцевых, становится притягательным местом для сибиряков, особенно молодежи.

„Продолжительная жизнь в Сибири, участие в местной жизни, знакомство с сибирскими общественными вопросами и культурные услуги этой стране дали ему,—писал маститый ученый и сибирский патриот Г. Н. Потанин,—право на звание учителя сибирских поколений. Когда он жил в столице, в его квартире постоянно толкалась сибирская молодежь. Молодые сибиряки, стремившиеся в высшую школу, ехали с рекомендательными письмами к Клеменцу. Его журфиксы в 90-х годах прошлого столетия заменили сибир-

ские журфиксы Ядринцева 70-х годов. Они были продолжением Ядринцевских вечеров и по своему духу и направлению"...

В Петербурге Д. А. мало пишет по литературным вопросам. Ему некогда—он ликвидирует „ученые залежи", накопившиеся у него в Сибири. В это время он издает чрезвычайно ценную и нужную книжку—„Программу для собирания этнографических предметов", а летом Клеменц опять в Сибири.

— Не могу сидеть в каменном Петрополе. Запахнет весной—и меня, как старого бродягу, тянет в тайгу, в степь... говорил он нам, приезжая в Сибирь.

Из Петербурга Клеменц совершил поездки к бурятам, монголам, а в 1898 г. состоялась его экспедиция в Турфан, составившая в некотором роде эпоху в географическом мире и явившаяся, как определяет ее академик С. Ф. Ольденбург—„определенною гранью в изучении древностей китайского Туркестана". Экспедиция эта была снаряжена на средства Академии Наук и дала изумительно блестящие результаты. Было открыто много остатков старины, развалины буддийских храмов и проч. Отчет об экспедиции, в виду важности добытых результатов, был напечатан Академией Наук на немецком языке. Появление отчета вызвало германскую экспедицию проф. Грюнведеля, а результаты обеих экспедиций—Клеменца и Грюнведеля — послужили поводом к учреждению международного Союза для изучения Средней и Восточной Азии и Восточного Туркестана. Так ценны были открытия Клеменца

в Турфане. Не менее ценны были его работы и в других областях географии, геологии, этнографии и др. К сожалению, недостаток места не дает возможности хотя-бы бегло обозреть эти работы, хотя большинство его дневников, многие работы еще не изданы до сих пор, и между прочим его работа, указывающая на основные черты строения Монголии и данные об условиях залегания горных пород. Содержание этой работы стало известно из книги президента Венской Академии Наук, Эд. Зюсса — „Лик Земли", изданной в Вене в 1901 г. Проездом через Вену Д. А. передал свои взгляды по указанному вопросу Зюссу, изложив их письменно и дополнив их в устной беседе. Ученые Общества относились к Клеменцу с большим доверием и признавали его авторитет. Так, по поручению Русского Географического Общества он не раз давал отзывы об ученых работах, отчетах о путешествиях и т. п. На основании отзыва Клеменца В. А. Обручеву была присуждена Географическим Обществом высшая награда—Константиновская золотая медаль. Клеменц состоял членом многих ученых обществ.

Мы далеко не исчерпали всего того, что сделал Д. А. в области географии, мы не перечислили даже всех его путешествий, не указали его географических работ, доставивших Клеменцу почтенное имя среди ученых географов и этнографов. Он только в одной Монголии проложил 15 тыс. верст маршрутов; проникал туда, куда не вступала еще нога европейца; им были открыты и неизвестные горы, и потухшие вулканы, один из которых В. А. Обручев предлагает назвать

„вулканом Клеменца", чтобы увековечить на карте Монголии имя исследователя, который „был первым и единственным геологом, искрестившим внешнюю Монголию и знавшим ее, как никто из современников". Так определяет значение Клеменца для Монголии сам хорошо знающий Монголию известный путешественник, ученый геолог, ректор Горной Академии—В. А. Обручев.

Клеменц любил природу. В основе его исследований лежали не только камни, геологические строения, палеонтология и археология, флора и фауна, — но он отводил в своих исследованиях огромное место человеку. Клеменц - этнограф не менее значителен, чем Клеменц - геолог и археолог. В статье „Д. А. Клеменц и сибирские инородцы" А. Мэрген пишет: „к числу немногих представителей русской интеллигенции, имена которых тесно связаны с судьбами и историей сибирских инородцев, по справедливости должен быть отнесен и Д. А. Клеменц".

Клеменц любил инородца деятельной любовью, болел за его страдания и всегда готов был придти ему на помощь. Ученый мир знает и ценит Клеменца, как этнографа, знатока быта инородцев, исключительного знатока их мифологии, доказательством чего может служить обращение к Д. А. Бостонского ученого Общества написать о мифологии инородцев. Но Клеменц несравненно больше сделал для инородца не как ученый, а как публицист по инородческим вопросам.

В столичных и сибирских газетах напечатано им множество статей об инородцах, и всегда по какому-нибудь животрепещущему вопросу. Кле-

менц в душе был поэт, и с этой стороны мифология инородца представляла для него большой интерес. Описывая посвящение горным духам „изыха" (посвящаемое животное), Клеменц говорит: „и для нас этот культ природы, эти воззвания к владыкам гор не потеряли еще известной доли суровой поэзии..." „Клеменц,—пишет Потанин в „Русск. Богатстве",—в своих экспедициях думал не только о том, что сам он привезет с собой домой, но и о том, что сам он принесет в далекие страны... В этом отношении он был настоящим апостолом цивилизации и гуманности". Клеменц был тесно связан с инородцами, и эта связь не прерывалась, когда он поселился в Петербурге. Клеменц всегда умел во-время сказать слово защиты за инородца, исходя не только из человеколюбия, но и из того положения, что как бы ни мала была народность, но нельзя предвидеть, что она подарит миру в будущем. Во время „реформ" по отношению к инородцу Клеменц был всегда на стороже, чтобы не дать в обиду инородца. В 1897 г., когда было предпринято статистико-экономическое исследование Забайкальской области статс-секретарем Куломзиным, Клеменц сам идет в экспедицию и убеждает сенатора пригласить политического ссыльного М. А. Кроля и статистика Д. М. Головачева для того, чтобы исследование имело объективный характер, и чтобы интересы бурят не пострадали. Клеменц горит жаждой спасти человека, сохранить народность и с горечью восклицает: „и без того уже погибло много культурных начинаний, и без того, чтобы воскресить прошлое, мы должны говорить с могилами!.."

Я уже отметил, что Клеменц любил инородца деятельной любовью, болел за его судьбу и мечтал улучшить его участь. В 1904 г. на Алтае алтаец Чет Челпанов восстал в горячих проповедях против деятельности шаманов и кровавых жертв. Создалось религиозное движение, названное бурханизмом (от слова бурхан идол), или белой верой. Нашим православным священникам-миссионерам, а также полиции, новое учение показалось невыгодным. Они стали обвинять Чет Челпанова и его последователей в человеческих жертвоприношениях. Это обвинение было брошено невежественными шаманами. Невежество и своекорыстие нашего духовества и полиции повели к дикому разгрому калмыков и к аресту многих десятков последователей Челпанова. Клеменц едет на Алтай, исследует новое учение и оценивает его, как „нарастающие запросы больной души“ бедного народа, как искать более чистого и широкого источника для удовлетворения своих высших потребностей“. В Петербурге в Географическом Обществе Д. А. делает доклад о новом учении, а когда в Окружном Суде разбирается дело несчастных калмыков, томившихся в бийском остроге, Клеменц, как это сделал В. Г. Короленко в Мультанском деле, едет на Алтай, выступает защитником инородцев на суде, произносит горячую речь,—и суд оправдывает последователей Чет Челпанова, обвинявшихся в человеческих жертвоприношениях.

„Петровская кунсткамера“, в которой вначале хранителем, а потом старшим этнографом был Д. А. Клеменц, благодаря ему в 1904 г. превратилась в громадный музей антропологии, этногра-

фии и археологии имени Петра I. Но не закончилась еще работа по устройству упомянутого музея, как Клеменц приглашается стать во главе грандиознейшего предприятия — этнографического музея имени Александра III, ныне Русского музея. Музей должен был охватить все многоплеменные народности, входившие в состав государства, а также и народности сопредельных с Россией стран.

Клеменц оправдал доверие и справился с новым грандиозным делом. Но усиленная работа надорвала силы Д. А., и он должен был на лето уезжать заграницу и отдыхать. Лето он проводил обыкновенно в Швейцарии у своего друга—эмигранта Е. Е. Лазарева. В Петербурге он также не чурался старых товарищей и близко стоял к „Русскому Богатству“. В 1910 г. надорванное здоровье и подозрительное отношение сфер к бывшему ссыльному, не прекращавшему знакомств с скомпрометированными лицами, заставили Д. А. выйти в отставку. Ему дали чин действ.стат. советника и пенсию в 2 тыс. руб.

Клеменцы поселились в Москве на Пятницкой ул. Здоровье Д. А. было надломлено, да и у Е. Н. оно было неважно. А Клеменцы еще взяли на воспитание своих внучатых племянника и племянницу. Д. А. сильно привязался к мальчику. В 1910 г. он стал печатать в „Русских Ведомостях“ свои воспоминания и мечтал довести их до конца, но здоровье ухудшалось, стала ослабевать и память.

Старые товарищи часто навещали Клеменцов, а Гедеоновские даже поселились в одном доме

рядом с Клеменцами. Тесная дружба и любовь в течение 30-ти лет связывала Е. Н. и Д. А. Е. Н. с тревогой следила за Д. А. и как-то она сказала мне:

— Я не переживу его!..

И действительно она не пережила его! Смерть Клеменцов произошла при исключительных обстоятельствах, напомнивших нам кончину супругов Елисеевых и Милютиных.

Д. А. заболел воспалением легких под новый 1914 год. Когда выяснилась безнадежность его положения, с Е. Н. сделался удар, и мы увезли ее в Земскую больницу за Семеновской заставой, где врачем был приятель Клеменца. 4-го января Е. Н. умерла. Д. А. не знал об этом—в бреду он звал Лизу... 8-го января мы похоронили Е. Н. Вечером в этот же день мы, старые товарищи Д. А., собрались у него, точнее у А. В. и Е. М. Гедеоновских. Двери квартир были рядом, и кто-нибудь из нас сидел у постели больного. В 8 час. вечера началась агония. Д. А. скончался на наших глазах.

„Оба друга одновременно, как будто взявшись за руки, ушли из реального мира“,—так Г. Н. Потанин писал по поводу смерти Клеменцов. Некрологи во всех газетах, масса телеграмм, цветы и венки заполнили всю квартиру, и между ними венок от „семидесятников“, от ссыльных Сибири, газет, журналов, обществ и т. д.—все это говорило о значительности скончавшегося. На могиле Ваганьковского кладбища были произнесены речи: академиком С. Ф. Ольденбургом, от лица Академии Наук, И. И. Поповым—от Сибирского Отдела Географического Общества и Сибири, кн. Д. Ф.

Ухтомским — от лица музея Александра III и А. А. Макаренко — от Общества изучения Сибири.

Речи студента — от лица учащихся сибиряков и С. А. Лянды — от ссыльных товарищей и семидесятников не были допущены представителем полиции, как не была разрешена из боязни демонстрации и лития у Университета.

„Восточно-Сибирский Отдел Русского Географического Общества“ издал в 1916 г. „Сборник памяти Дмитрия Александровича Клеменца“. Сборник в 360 стр. снабжен портретами, иллюстрациями и картами.

В речах на могиле, в некрологах и в „Сборнике“ Клеменц обрисован, как человек с великой душой, благородным сердцем, давшим нам образец блестящего мыслителя, разностороннего, вдумчивого, ученого, талантливого писателя, отважного путешественника, самоотверженного революционера и выдающегося общественного деятеля, оставившего глубокий след в жизни не только 70-х гг., но и в последующие периоды, когда он служил Сибири и науке, не порывая с прошлым, служил не за страх, а за совесть. Через всю свою многосодержательную и кипучую жизнь Д. А. сумел пронести неприкосновенными идеалы юности, сохранить стойкость убеждений и веру в светлое будущее. Вот за эту веру и стойкость убеждений пережившие его товарищи-старики хранят в своих сердцах память о беспокойном Дмитрии Клеменце!

И. И. Попов.

ИСТОЧНИКИ.

1) Антекман.—Общество „Земля и Воля". Изд. „Колос". Петроград. 1924 г.

2) Его-же. Флеровский-Берви и кружок чайковцев. „Былое". № 19, 1922 г.

3) Аргунов.—Наши предшественники. (Очерк революционного движения 1870—1880 гг.). Изд. Петроград. 1917 г.

4) В. Я. Богучарский.—Активное народничество. Изд. Сабашникова. Москва. 1912 г.

5) Л. Г. Дейч.—Один из последних семидесятников (с приложением статьи В. И. Засулич). Изд. Госиздат. Петроград. 1921 г. „Истор. Револ. Библ.".

6) В. И. Засулич.—Д. А. Клеменц (личные воспоминания). „Наша Заря". 1914 г. № 2.

7) Клеменц, Д. А. (Биографич. заметка). „Энциклоп. Слов. Брокгауза и Ефрона". Доп. 2, стр. 918.

8) Клеменц, Д. А. Тоже. „Энциклоп. Слов." т-ва Гранат и К°, т. 24, стр. 303—304.

9) Д. А. Клеменц.—Некролог. „Исторический Вестник". 1914 г., № 2.

10) Д. А. Клеменц.—Тоже. „Русская Мысль" 1914 г.. № 2.

11) С. Ф. Ковалик.—Революционеры-народники в каторге и ссылке. „Каторга и ссылка". 1924 г., № 4 (II).

12) Кравчинский-Степняк.—„Подпольная Россия". Изд. „Светоч". Спб. 1906 г.

13) Кропоткин, П. А.—„Записки революционера" Изд. Москва. 1920 г.

14) Лавров, П. Л.—Народники-пропагандисты 70-х гг. Изд. Спб. 1907 г.

15) Лукашевич, А. В.—„В народ“. (Воспоминания). „Былое“. 1907 г., № 3.

16) Морозов, Н. А.—Повести моей жизни. Изд. „Задруга“. Москва. 1917 г.

17) Он-же.—„Памяти друга“. „Речь“. 1914 г., № 11.

18) В. А. Мякотин.—Памяти Д. А. Клеменца. „Русск. Богатство“. 1914 г., № 2.

19) И. И. Попов.—Д. А. Клеменц. „Голос Минувшего“. 1914 г., № 2.

20) Он-же.—Д. А. Клеменц (биографич. очерк). Изд. Иркутск 1917 г.

21) Он-же.—Минувшее и пережитое (воспоминания за 50 л.). Т. II. „Сибирь и эмиграция“. Изд. „Колос“. Ленинград, 1924 г.

22) Он-же—Памяти беспокойного Клеменца. „Русск. Вед.“. 1914 г., № 10.

23) Он-же.—Столичные письма (памяти супругов Клеменц). „Сибирь“. 1914 г., № 21.

24) Он-же—Столичные письма (похороны Д. А. Клеменца). „Сибирь“. Февраль, 1914 г.

25) Г. Н. Потанин.—Д. А. Клеменц. „Сибирская Жизнь“. 1914 г., № 10.

26) Е. Серебряков.—Очерки из истории „Земли и Воли“. Изд. „Свободный Труд“. Спб. 1906 г.

27) Старик. (С. Ф. Ковалик).—Движение 70-х гг. по Большому процессу—193-х. „Былое“. 1906 г., №№ 8—10.

28) Л. Э. Шишко.—„Статьи о движении начала 70-х годов“. Собр. сочин., т. IV. Изд. „Колос“. Петроград. 1918 г.

29) Сборник памяти Д. А. Клеменца. „Изв. Восточн. Сибир. Отд. Географич. Об-ва“. Т. XIV. 1916 г.

Содержание:

а) В. А. Обручев.—Обзор путешествий Д. А. Клеменца по внутренней Азии и их географических и геологических результатов.

б) Н. Н. Козьмин.—Д. А. Клеменц и историко-этнографические исследования Минусинского края.

в) И. И. Попов.—Д. А. Клеменц (биографический очерк).

г) А. В. Адрианов.—Памяти супругов Клеменц.

д) И. И. Серебренников.—О деятельности Д. А.

Клеменца в Восточно-Сибирском Отд. Географического Общества.

е) С. Ф. Ольденбург.—Экспедиция Д. А. Клеменц в Турфан в 1898 г.

ж) А. Мэрген.—Д. А. Клеменц и сибирские инородцы.

з) А. В. Адрианов и И. И. Серебренников.—Литературные труды Д. А. Клеменца. 1884—1910 гг.

и) С. А. Григорьев.—Краткое сообщение об археологической поездке в долину р. Лены.

к) А. Макаренко.—Д. А. Клеменц в этнографическом Отд. Русск. Музея Александра III. (1901—1909 гг.).

л) Коллекции Д. А. Клеменца в Сибирских Музеях.

30) Газеты—столичные 5—12 января, сибирские и провинциальные в январе 1914 г. и журналы за февраль 1914 г.

ИЗ ПРОШЛОГО

Д. А. Клеменца.

I. Под кровом родительским.

Я родился в 1848 году в селе Горяинове, Николаевского уезда, Самарской губернии. Там протекло все мое детство вплоть до того возраста, когда детей отдают в школу. Отец мой был немец из Курляндской губернии, мать — одна из целого ряда многочисленных дочерей мелкопоместного дворянина Иванова, в Саратовской губернии. Родные моей матери, главным образом ее братья, хотя и относились всегда довольно почтительно к моему отцу, все-таки не забывали того, что они — дворяне, а он разночинец; они — помещики, а он управляющий имением помещика. Это, впрочем, скорее только чувствовалось, чем выражалось каким либо внешним образом, и подмечалось, главным образом, моей матерью. Упоминания дядей об их дворянском происхождении нисколько не задевали моего отца. Он ясно видел, что, несмотря на свое дворянство, это—люди совершенно беспомощные. Жизнь моих дядей в их общем, нераздельном имении была заурядной жизнью мелкопоместного дворянства, проходившей среди безделья, мелкого тиранства над гостью крепостных и тщетных стараний поддержать свой дво-

рянскій престиж в борьбе с безденежьем и неумением вести свое хозяйство даже при даровом труде. Мелкопоместное дворянство, насколько я его знал, делилось тогда на две категории: одни лезли из кожи, чтобы поддержать свой дворянскій престиж, входили в долги для того, чтобы иметь возможность поддерживать знакомство с богатыми домами; другие, малограмотные, выросшие в своих усадебках, жили, мало отличаясь по образу жизни от крестьян. Такого барина можно было встретить и на стоге сена с вилами в руках, и гоняющимся в своем огороде за крестьянскими курами. Крошечное собственное хозяйство не прокармливало такого барина, и все крестьяне были обложены и часто просто придавлены целым рядом натуральных сборов. Впрочем, слово „обложены" здесь неуместно; обложение предполагает все же известную определенную норму, а здесь ее не было. Нет у барина коровы—он шлет к мужику свою кухарку доить корову. Нет яиц — производится сбор яйцами и т. д. От такого барина не мог укрыться ни один лишній сноп хлеба, не говоря уже о живом инвентаре. С соседями из своей братии мелкопоместные часто ссорились; по целым десяткам лет тянулись в земских судах процессы по их жалобам, например из за съеденного собаками поросенка, из-за обстриженного хвоста у кобылы, а иногда дело доходило и до драк между партиями крестьян, предводительствуемых помещиками. Вообще, в пору пятидесятых годов степная культура немного подвинулась вперед от той эпохи, которую описывал внук Багрова, и отец мной лично знал сына знаменитого

Куралесова, настоящая фамилия которого была Куроедов.

В нашем уголке было тогда мало помещиков, живших постоянно в своих вотчинах. Даже и мелкопоместные норовили на зиму уехать в город. Кто побогаче уезжали в Саратов, Самару, а маломочные довольствовались поездками из усадьбы в Хвалынск. Крупные же владельцы, как, например, Воронцов-Дашков, Ливен и другие русские магнаты, заглядывали в свои захолустные латифундии только в особо важных случаях. Такими имениями управляли по большей части остзейские немцы, которые составили особый кружок; к нему примыкал и мой отец. Теперь мне необходимо сказать о помещике, доверителе моего отца Горяинове. Он интересен, как пример человека умного, благородного, доброго и безусловно честного, заботившегося о своих крестьянах, но искалеченного предрассудками крепостного права. Сам он жил постоянно в Ярославле, где у него также было несколько имений, и только летом, и то не каждогодно, наезжал в свои самарские имения, так что вся хозяйственная часть была в руках отца, а помещик больше занимался высшими соображениями. Начитавшись рассказов Голикова о деятельности Петра Великого, он сам принялся следовать примеру преобразователя России. „Я — маленький Петр Великий",—говорил он о себе и старался подражать во всем своему образцу, но, как степной помещик, убежденный крепостник, конечно, главным орудием цивилизации признавал розги и палку. Когда получалось сведение о том, что Горяинов едет, среди крестьян и дворовых

наступала паника. — „Ну, опять в ход розги да колотушки пойдут“, — говорили и в деревне, и в усадьбе.

Много тяжелых сцен пришлось мне перевидать в своем детстве; из них я останавливаюсь на одном эпизоде, который я назову своей первой любовью. Я услыхал, как секли одну горничную, девушку Парашу. После истязаний я зашел в девичью и там застал ее плачущей. Я подошел к ней, она меня оттолкнула. Я заплакал, снова бросился к ней, крикнул: „Параша, мне жалко тебя“, и обнял ее.

Параша взяла меня к себе на колени, и нам обоим сделалось хорошо. Мы о чем-то говорили друг с другом, но я не помню, о чем.

После этого случая я часто стал бегать в девичью к Параше.

Эти свидания доставляли нам какое-то грустное удовольствие; чтобы охарактеризовать наше настроение, я скажу по крестьянски: мы жалели друг друга. Мы знали, что если сегодня выдрали Парашу, то завтра могут выдрать и меня. Крепостное иго душило вместе с крестьянами и семью помещика; родительская любовь нередко переходила в родительскую жестокость. Кроме колотушек, с появлением помещика крестьянам грозило новое горе. Подражатель Петра Великого, конечно, по своему насаждал просвещение. Деревенских мальчиков брали из деревни в усадьбу для обучения грамоте; выучившихся помещик, опять-таки подражая Петру, посылавшему боярских детей заграницу, отправлял в обучение ремеслам в Ярославль или в Москву. Отправка подростков представляла для матерей такое же

горе, как и сдача в рекруты. Напрасно уже прошедшие выучку утешали матерей, указывая на себя, что вот, дескать, видишь, и мы в ученьи были, мы — мастеровые и теперь хорошие деньги зарабатываем. Все это, конечно, знали крестьяне и даже завидовали мастеровым, пользовавшимся хорошим заработком, но горько было то, что какая-то чужая рука, не спрашивая согласия родителей, отнимала дитя от отца и матери. Вообще, как ни жесток был Горяинов, он все же считал своею обязанностью заботиться о своих крестьянах, и действительно, его крестьяне жили лучше соседних помещичьих крестьян.

На расстоянии двадцати верст в окружности была церковь только в имении Горяинова, была и больница с фельдшером. На весь уезд было только две больницы, — другая была в уездном городе Николаевске. Кроме церкви и больницы предприимчивый реформатор брался за такие затеи, которые были ему не под силу. Горяинов был очень любознателен, много читал, но без всякой системы. Где-то ему удалось прочесть об открытии артезианского колодца в Париже. Эта новость не давала покоя Горяинову. Посоветовавшись с каким-то инженером, Горяинов накупил чугунных труб и других приспособлений и смело принялся со своими доморощенными машинистами, кузнецами и слесарями за работу. Года два длилась эта затея. Дошли до глубины 30-ти сажен, но тут нижние трубы, благодаря неправильной осадке, приняли косвенное направление, скрепы труб порвались, и на этом пришлось бросить работу. Однако, в тех вопросах, где ему не прихо-

дилось выдумывать что-либо самому и „умничать“, деятельность его была плодотворна и симпатична. Он высоко ценил образование. В доме его, в Ярославле, всегда воспитывалось несколько человек, которых он содержал на свой счет. Пансионеры его оканчивали курс в гимназии и многие—в Демидовском Лицее.

Теперь я должен коснуться эпохи великого испытания и отрезвления России, — Крымской войны. Эта война отразилась в нашем захолустьи на крестьянстве тяжелым горем—рекрутским набором. Ежедневно отцы и матери рекрутов являлись к отцу и, заливаясь горючими слезами, стоя на коленях, умоляли освободить от рекрутчины отца, мужа или брата. Народ совершенно упал духом, когда потребовалось собирать ополчение. Недовольны были и помещики. „Нас совсем без работников оставят“ — говорили они и старались сдать в ратники слабосильных, пожилых,—словом, таких, которые не так уже были нужны для хозяйства. Рекрутов и ратников собрали сполна.

Откуда было взять офицеров? Ведь помещика нельзя было заковать в кандалы, привести в рекрутское присутствие и забрить ему лоб. Некоторые из бывших военных сами предложили себя, но таких было не много. Настроение дворянства в это время охарактеризовано было в одной сатире под заглавием „Симбирское ополчение“. Текста этой статьи я не помню, у меня осталось в памяти только общее содержание ее. Автор говорит в начале, что дворяне готовы итти в бой за веру, царя и отечество. По-минински обещали заложить жен и детей, чтобы спасти Россию. Затем, по мере

приближения времени службы, энтузиазм падал; у всех явились неотложные дела, болезни и т. д. Потом перечисляются под весьма прозрачными эпитетами разные лица, старавшиеся отбояриться от выборов в ополченские офицеры. В конце статьи патриоты говорят: „Не всем же нам итти; пусть идут те, у кого нет имений или какого-нибудь другого имущества. Без нашего надзора нам грозит раззорение“. Любопытно, что эта едкая и смелая сатира, как я узнал впоследствии, вышла из-под пера женщины. Автором ее была мать известного русского художника Валерия Ивановича Якоби, с которым я был знаком. Наш самарский губернатор Грот был ужасно возмущен поведением дворян, которые прибегали к разным уловкам, чтобы избежать военной службы. Впоследствии оказалось, что и хлопотать было не из-за чего. События на крымском театре войны шли быстро. Героическая защита Севастополя близилась к концу. Надеяться было не на что; наши друзья австрийцы придвинули войска к нашим границам. Затем вскоре явилась в нашу деревню бумага из Петербурга, извещавшая о смерти императора Николая I и о вступлении на престол Александра II. С наступлением нового царствования как-то у всех явилась уверенность, что скоро будет конец войне. Надежда эта, как известно, оправдалась, и ни один ратник из нашей губернии не понюхал пороха. Вместе с миром явилось и новое настроение в деревне. В крестьянах, как тогда говорили, проявилось своеволие. В имении князя Ливена дело дошло до возмущения. Управляющий-немец стал слишком хорошо нарушать правила о трехдневном сроке барщины: у

него трехдневный срок превращался в шесть дней. Такие отступления делались и раньше, но немец уже слишком начал злоупотреблять ими. Прежде это сходило с рук, а теперь не сошло. Вотчина окружила барский дом и требовала выдачи управляющего. Толпа не буйствовала, но настойчиво вызывала его и угрожала, что если он не выйдет к народу, то крестьяне возьмут его сами, причем начали ломиться в дом. Управляющий со своим племянником, вооружившись двустволками, вышли на крыльцо. На вопрос управляющего, что им нужно, толпа ответила: „Нам нужно сменить тебя; ты управляешь не по закону“.—Меня может сменить только помещик, сказал, дрожа всем телом, управитель.—Мы напишем помещику, а ты до ответа сиди смирно, за тебя на время пусть останется бурмистр.—Делайте, как знаете,—сказал управляющий и ушел. Толпа понемногу начала расходиться, а управляющий, зная, что крестьяне хотели итти на барский двор, с утра уже послал двух нарочных: одного к становому, другого—в уездный город Вольск просить для усмирения крестьян военной помощи у командира батареи, недавно вернувшейся из-под Севастополя. Команда явилась к вечеру. После порки, по указаниям доносчиков, разыскали „зачинщиков“, заковали в кандалы и послали на поселение. Немало было хлопот и с возвратившимися ратниками. Они, считая себя наравне с солдатами, думали, что после службы они выйдут на волю. В большинстве случаев удавалось урезонить ополченцев, но бывали примеры, когда применялось любимое средство русской администрации—жестокая порка. Рядом с этим выступили

другие небывалые явления крестьянской жизни. Одно из них—запрещение вина—имело в России довольно широкое распространение и было отмечено литературой. Приведу отрывок стихотворения поэта Розенгейма „Плач откупщика“:

Исполнился дух мой тоски и печали:
Отцы мои, нет ли реки?
В семнадцати селах вдруг пить перестали,
Хоть вовсе закрой кабаки.

Запрета на вино, сколько мне помнится, не было в нашем уезде, но зато были основательные разгромы кабаков. Громилы переходили из села в село и бесчинствовали во всю.

В довершение полноты картины русского бунта при одном погроме появился самозванец. Усмиряя бунт не помню уже, в каком селе, становой заметил человека высокого роста, который руководил погромом.—Еще десять человек к кабаку с бревном! Бей в ворота и в двери!—кричал руководитель.

— Слушаем ваше высочество, отвечали из пьяной толпы. Становой подошел к самозванцу и крикнул:

— Как ты смеешь, сукин-сын, разбойничать! Ты кто?

— Я великий князь Константин! Шапку долой передо мною, приказная строка! Становой вместо ответа ударил самозванца и сбил с ног. Толпа вдруг остановилась от изумления. Пользуясь благоприятной минутой, становой вскочил в свой тарантас и помчался вон из деревни, а вдогонку за ним полетели камни. Об этих буйствах потом производились дознания и следствия, но самозванца так

и не разыскали, чего и следовало ожидать. Николаевский уезд был полон старообрядцами разных толков и самых разнообразных сект; они умели прятать людей, которых считали за своих. Сколько помнится, виновники погромов были наказаны административным порядком, т. е. перепороты. Говорили, что наш тогдашний губернатор Грот, заклятый враг откупной системы, не нашел нужным раздувать это дело. Вообще откупщики до того уже стали ненавистны, что многие из людей крепостнического образа мыслей говорили: „Мужиков пороли за погромы, а откупщиков-то позабыли“.

Это было время крайне тревожное. Крестьяне косо глядели на помещиков и подозревали администрацию, думая, что она заодно с господами. Помещики кричали, что правительство хочет разорить их, помещиков, и благодаря этим ламентациям введена была в „Положение о крестьянах“ статья, по которой, при обоюдном соглашении, вместо надела предлагалось получить четвертую часть его (сиротский надел) и этим закончить обязательные отношения между владельцем и крестьянами. Ясно было, что такая сделка обезземеливала крестьян и отдавала их в полную экономическую зависимость от соседних землевладельцев. Несмотря на все разъяснения, крестьяне во многих местностях настаивали на том, чтобы покончить поскорее обязательные отношения. Когда отец мой написал об этом Горяинову, последний ответил, что он не желает, чтобы его, Горяинова, крестьяне, выйдя на волю, пошли с сумой. Кре-

стьяне настаивали на своем; упрямство их поддерживалось народной легендой, что положение 19 февраля—только начало воли, что за сиротской десятиной понемногу будут прирезывать землю крестьянам, чтобы не обидеть сразу помещика. Иллюзия эта не осуществилась, как известно. Горяинов долго не сдавался, но наконец старость и болезни сломили его упрямство. Мужик переупрямил барина, но с первого же года своей свободы на сиротской десятине попал в полную зависимость от владельца земли.

Около этого времени окончилась моя дошкольная жизнь. Первой моей школой было хвалынское уездное училище, потом самарская и I. казанская гимназии. Я попал в новую обстановку; дома я бывал только во время каникул. Я встретил людей, которых называли тогда новыми, и под их влиянием мало-по-малу начали изменяться мои понятия и взгляды на жизнь, усвоенные в детстве на лоне крепостного права.

II. Учебные годы.

Когда мне исполнилось десять лет, родители мои решили отправить меня в Хвалынск к смотрителю уездного училища Иванисову для подготовления к первому классу гимназии. Подготовлен я был почти что достаточно домашним обучением: я знал четыре правила арифметики, знал историю ветхого и нового завета и вообще любил читать. Не находя книг для чтения, подхо-

дящих к моему возрасту, отец выписал для меня детский журнал, издававшийся Ишимовой, „Лучи". Когда нумер журнала получался с почты, я засаживался за него и прочитывал от доски до доски. Для десятилетнего возраста я имел уже солидную эрудицию. Отец и мать надеялись, что я выдержу экзамен в первый класс гимназии, но для того, чтобы дать мне возможность предварительно ознакомиться с школьной жизнью, меня отвезли в Хвалынск к смотрителю уездного училища Иванисову, который за десять рублей в месяц взялся приготовить меня к поступлению в первый класс. Итак, мне в первый раз пришлось жить у чужих людей. Меня с первого разу поразили отношения между моими воспитателями; редкий день проходил у нас без какой-нибудь семейной сцены, а после сцены Иванисов исчезал из дому и возвращался ночью. Преподавание Иванисова было самое упрощенное: задаст „от сих до сих" и уйдет, а урок спросит на другой день. Так шло мое учение. Уроки я зубрил исправно, но меня часто разбирала скука, и я иногда забегал в классы, сидел там, заводил знакомства, играл с мальчиками во время рекреации. Среди моих товарищей было много татар, и я как-то ближе сходился с ними, чем с русскими, хотя первые были по большей части гораздо старше меня. Татары держали себя сдержанно и если принимали участие в играх, то не увлекались ими, а больше наблюдали и в случае драки уговаривали и разнимали дерущихся. Впоследствии я не один раз встречался со своими товарищами татарами. Большинство их получили хорошие места

приказчиков и комиссионеров, сделались богатыми людьми.

Когда я уже учился в первой казанской гимназии, приезжавшие в Казань мои бывшие сверстники часто заходили в пансион ко мне и привозили мне в подарок виноград, груши и другие фрукты.

В Хвалынском училище я пробыл недолго, всего один месяц. К концу его приехал на каникулы мой старший брат из Ярославля, и мои домашние решили, что он сумеет подготовить меня в первый класс. Я распростился со своими приятелями-татарами и уехал в деревню, а в августе меня привезли в самарскую гимназию. Экзамен из всех предметов прошел гладко.

Самарская гимназия открылась года за четыре до моего поступления, и учителя были по большей части народ молодой. Попав в первый раз в класс, я ушел из гимназии, прослушав все четыре урока не только со вниманием, но и с удовольствием. Прожил со мной отец всего два дня, только для того, чтобы устроить меня где нибудь, и на прощание подарил мне рубль серебра с советом тратить деньги бережливо. Совет этот я принял к сведению: я знал скудное жалованье отца и его случайные заработки, а теперь я был самым расходливым членом нашей семьи. За квартиру и стол приходилось платить восемь рублей в месяц. Это было большой прорехой в бюджете семьи, которая увеличилась, а средства к жизни остались те же. От всех этих расходов выручил меня и отца чистый случай. В октябре пожаловал к нам окружной инспектор Казанского учебного округа Чашников.

Явясь в гимназию, он заявил желание послушать, как идет учение. Директор перечислил, какие предметы преподаются в этот день.

Чашников выбрал закон божий в первом классе. Когда вошел Чашников, я стоял и отвечал урок. Все встали. Чашников сказал сладким голоском: „Садитесь, детушки; а вы, молодой человек, продолжайте свой ответ!“

Мои ответы настолько понравились его превосходительству, что он растрогался и начал нахваливать меня.

Выйдя из класса, Чашников, как я потом узнал, принялся расспрашивать о занятиях моего отца, об его семейном положении и о моем поведении и успехах. Все это знал учитель немецкого языка Штейнгауэр и передал Чашникову. В конце концов тот-же Штейнгауэр сказал мне, чтобы мой отец подал прошение о принятии меня казеннокоштным пансионером в первую казанскую гимназию, и что хлопотать будет за меня Чашников. Итак, случайно, благодаря благодушному настроению заезжего генерала, я получил возможность окончить курс гимназии.

С этой радостной надеждой я приехал на зимнюю вакацию домой. Дома я заметил большую перемену в настроении помещиков. Одни говорили, что отнятие крестьян у помещиков будет „великой несправедливостью и незаслуженным недоверием к дворянству со стороны правительства; другие утверждали, что крестьяне, оставленные без приюта, сопьются с кругу. Третьи надеялись на то, что государь, как первейший из русских дворян, должен защищать интересы благо-

родного сословия. Пусть правительство преследует лихоимство и казнокрадство чиновников,—но за что оно преследует дворян и отнимает у них собственность? Особенно же негодовали помещики на то, что господа либералы вздумали издавать журнал для народа. „Зачем это, когда мы, люди образованные, обходимся без него! Мы признаем пользу грамотности и религиозно-нравственных книг, но зачем же посвящать этих полузверей в политику!“ Никто, конечно, не посвящал крестьян в политику. Весь сыр-бор загорелся от того, что в 1860 году Облонский и Щербачев стали издавать журнал „Народное Чтение“. В этом журнале помещались сведения о разработке крестьянского вопроса; рядом с этим там-же помещались беллетристические произведения П. Кулеша и М. И. Михайлова, популярно-научные статьи М. А. Антоновича, описание народов, населяющих Россию, и разные мелкие известия. Сколько мне помнится, это была вторая попытка создать периодическое издание для народа! В пятидесятых годах, во время управления удельными имениями Перовского, при участии Даля стал выходить журнал „Сельское Чтение, но знаток русского народа заговорил с крестьянином, как с малым ребенком. Учил мужика, как мыть руки, советовал не закрывать печей до тех пор, пока дрова не прогорят, и т. п. Эти статейки сильно напоминали детские книжки Бурнашева (Владимира Бурьянова), панегириста бывшего харьковского профессора Байкова, полного невежды в агрономии и управляющего царским имением „Удельная“ близ Петербурга. Стоит перечитать и

теперь воспоминания Бурнашева в Катковском „Русском Вестнике“, чтобы составить себе понятие о том, как харьковский профессор пускал пыль в глаза посетителям царского имения. Наивность воспоминаний молодого Бурнашева порой часто страшна, он видит кругом, что владельца имения нагло обманывают, и вместе с тем входит в дружбу с Байковым. Байков выдает себя Бурнашеву за противника телесных наказаний, а сам запарывает чуть не до смерти своих подчиненных. Бурнашев видит, что Байков—круглый невежда в агрономии, но это не мешает ему писать в „Северной Пчеле“ хвалебные статьи об образцовом хозяйстве в Удельной и об устроенном при нем земледельческом училище. Он, кроме того, не стесняется брать подачки с Байкова. Конечно, не таким людям, как Бурнашев и Байков, было подстать распространять культуру в народе.

Облонский и Щербачев, конечно, смотрели на просвещение народа с другой точки зрения, но и их журнал продержался недолго.

Издатели отказались от своего предприятия, и оно перешло в руки книгопродавца Лермонтова; последний выпустил, не помню, один или два номера, и затем, как помнится, прекратил свою деятельность. Этого и следовало ожидать, потому что было слишком мало грамотных в России. Не было еще потребности в периодическом издании для народа, и педагоги, как барон Корф, нашли более целесообразным произвести реформу первоначального обучения грамоте и заменить буквослагательный метод звуковым. Это, конечно, могло бы облегчить развитие грамотности, но встретилась другая

задержка,—нужно было создать учителей, которые могли бы преподавать грамоту по новому способу. Для этого нужны были средства, а министерство народного просвещения давало меньше средств на это дело, чем хотя бы удельное ведомство. Возникла было в Самаре воскресная школа. Наши гимназические учителя, учителя уездного училища, а больше всего гимназисты начали усердно посещать занятия. Это продолжалось однако недолго.

Судьба воскресных школ известна. Найдено было преждевременным пробуждать любознательность в простом народе, и все воскресные школы в провинции были закрыты. Как-то, уже будучи студентом, я встретил своего ученика по воскресной школе. Я и учил-то его полтора месяца, но встреча оказалась крайне задушевной, и мы с ним все время нашего недолгого свидания проговорили о воскресной школе. Ученик мой был человек уже взрослый, имел хорошее место в какой-то транспортной конторе.

— Говорили, что воскресные школы никакой пользы никому не принесли. Я вам—живой пример того, что они принесли пользу, несмотря на их коротковременное существование. Когда их закрыли, я сам стал учиться; добрые люди помогли мне, и я теперь, как видите,—человек

Я благополучно перешел во второй класс, проучился в самарской гимназии до декабря, а потом пришло известие о том, что я зачислен в число казенных пансионеров I-й казанской гимназии. Меня собрали в дорогу, и отец повез меня в Казань. Про I-ю казанскую гимназию в поволжских гимназиях ходили не особенно лестные слухи. Она

если чем и славилась, то своей жестокостью; ходили рассказы, что там учеников засекали до полусмерти и потом отправляли в больницу.

Приехав в Казань, я от товарищей узнал, что эти рассказы были не преувеличены. Многие даже хвастались количеством полученных розог. Директор этой гимназии славился на всю Казань и, пожалуй, на всю Волгу своими истязаниями детей. После директора Ивана Александровича Сахарова, иначе Сахар Медовича, вторым по важности лицом был палач, отставной солдат Галкин. Нередко проходившие мимо гимназии любители останавливались, чтобы „послушать", как порют.

— Важно порет Галкин,—слышишь, затихать начинает, верно сейчас в больницу унесут. Пойдемте домой.

— Погодите, может, попоят, дадут отдохнуть.

Сахаров и Галкин были на Волге самыми популярными личностями в педагогическом мире.

Приехав с отцом в Казань, мы немедленно отправились в гимназию и прежде всего спросили об окружном инспекторе Чашникове и узнали, что он вышел в отставку, а на место его поступил Сахаров, директором же назначен инспектор Генрих Иванович Крелленберг. Мы пошли отыскивать директора. Он принял было нас в передней, но у директора оказался мой знакомый учитель, перешедший из самарской гимназии в казанскую, Николай Исаевич Ленстрем. Он поздоровался со мной и с отцом за руку, а долговязый Крелленберг стоял перед нами, заткнув руки в карманы, и его маленькая бритая головка с громадным ртом и мигающими глазами вертелась на шее.

— Передайте вашего сына дежурному надзирателю,—приказал директор, вертя шеей и дрыгая длинными ногами.

— Сегодня воскресенье, я желал бы повидаться со знакомыми, а сына привезу завтра.

— Как хотите, можете привести его в гимназию завтра, в 8 часов,—и повернулся к нам спиной.

Мы вышли, и за нами вышел Ленстрем.

— Однако, не очень-то вежливо принимает ваш директор родителей, вверяющих вашей гимназии своих детей,—заметил отец.

— Крелленберг груб, но он—честный человек. Теперь он принимает должность и очень занят. Надобно правду сказать, что родители сильно надоедают учебной администрации. Сколько нелепых вопросов приходится выслушать от родителей. Но оставим пока это и зайдем на минуту в пансион—пусть ваш мальчик взглянет на свое будущее житье-бытье,—предложил Ленстрем.

Мы вошли в пансион, и нас окружила шумная толпа с криком:

— Новенького привели, новенького привели!

— Да, новенького из Самары. Завтра переберемся к вам совсем,—сказал Ленстрем, и мы втроем ушли.

На утро в 8 часов я был уже в казарме I-й казанской гимназии. Мне дали пюпитр и предупредили, чтобы замок к нему купил я сам. С учебниками была та же история: мне не выдали очень многих книг, а большая часть выданных была изорвана и истрепана; да и не мудрено: мне было выдано несколько книг, которые, судя по надписям, на них сделанным, были в употреблении еще

в начале 50-х годов. Это были не книги, а рвань. Приходилось клянчить у товарищей, покупать для них конфеты, давать взаймы деньги без отдачи. В этом старом заведении отовсюду пахло казенщиной. Так, в дортуарах были шкапы с гребенками, изящными флаконами с зубным порошком, прекрасными банными полотенцами и кусками душистого мыла. Но эти вещи никогда не выдавались воспитанникам; для них были грубые толстые полотенца и серое мыло, употребляемое для стирки. Выставка эта держалась только для того, чтобы пустить пыль в глаза какому-нибудь ревизору из Петербурга. Разумеется, подобные фокусы не могли внушить детям высокого понятия о нравственных качествах господ воспитателей. Обращение с воспитанниками было самое бесцеремонное на „ты", с прибавлением „болван" и других ласкательных эпитетов. Тяжело и жутко было мне привыкать к такой обстановке после самарской гимназии.

В I-й казанской гимназии было много воспитанников из казачьих войск, уральского и оренбургского, а также из башкир. Это были несчастные люди. Привезут, бывало, башкирят, одетых в несуразные—костюмы, и их поднимают на смех за их одежду, за бритые головы и ломаный русский язык. Для них существовал якобы особый класс с нелепым названием „неввезенный". Имелось в виду, что башкиров надобно было подготовить к первому классу, но подготовки такой не существовало, они сидели в первом классе, с учениками, уже знавшими свой язык и начальную арифметику; несмотря на это, некоторые успевали срав-

ниваться в познаниях с русскими, но только в низших классах, где господствовала одна зубрежка и нужна была только память.

Класса с четвертого они начинали отставать, и из десяти человек добирался до седьмого класса один или два. Никто их не развивал, не учил думать, а директор называл их прямо дикарями.

В самарской гимназии учителя давали нам книги и приучали нас к чтению. Когда же я попросил у одного из надзирателей казанской гимназии чего-нибудь почитать, он прикрикнул на меня и объявил, что посторонние книги допускаются читать только с третьего класса, а второклассникам, кроме учения уроков, никакого чтения не полагается.

В таком виде и при таких порядках застал я I-ю казанскую гимназию. Однако же время делало свое. Появились на свет божий педагогические журналы „Учитель“ и „Вестник Воспитания и Обучения“, которые неуклонно стали проводить идеи гуманности в школьную жизнь. На заскорузлых педагогов эти идеи не произвели никакого влияния, но вскоре молодые преподаватели стали твердо проводить новые педагогические идеи. Таких учителей было не много, но влияние их мало-по-малу стало отражаться на воспитанниках. Я здесь приведу образцы преподавателей того и другого типа. Один из комических был учитель географии Яков Яковлевич Пухов. Это был изумительный враль,—враль психопатический. Он хвастался своим дворянским происхождением, но его коньком были рассказы об его службе в вятском ополчении в Крымскую войну. По его словам, он

совершал изумительные подвиги: переправлял ратников на льдинах через реки, для сокращения пути прокладывал дороги прямоезжие и т. д. Он говорил, что перебывал во всех губернских городах России.

Ученики пятого класса, где полагалось тогда проходить географию России, стали задавать учителю вопросы: „Был ли он в такой-то губернии?“ Ответ был неизменно утвердительный. „Долго-ли вы там прожили?“ — „Год и два месяца“. Отбирались эти показания с весьма ехидной целью. Шалуны после каждого допроса вели подсчет, а потом в конце учебного года представили новому Хизгеру или Агасферу итог его странствований: в сумме оказалось, что наш географ давно должен был бы отпраздновать свой столетний юбилей.

Другим типом был законоучитель Лавров. Это был человек умный и любознательный, но крайне самолюбивый. Он при всяком удобном случае давал понять, что в нем Россия потеряла одного из великих богословов.

— Если бы у моих родителей были бы средства, не законоучителем был бы я, а профессором духовной академии.

Из учителей прогрессивного направления наибольшим авторитетом пользовался Ленстрем. Он преподавал русскую словесность, и урокам его мы обязаны знакомству с русской литературой. Затем учитель французского языка Мильчевский. Зная одинаково русский язык и французский, он сумел осмыслить изучение чужого языка настолько, что большинство из нас в седьмом классе довольно свободно читали французские книги. Третий был

математик Износков, человек широко образованный и гуманный; он обладал недюжинными математическими способностями. Его одно время готовили в профессора, но он не понравился попечителю Шестакову, и на место нашего учителя был выдвинут другой кандидат. Этим и исчерпывался весь состав преподавателей нового направления.

Вышеупомянутые молодые учителя, несмотря на самые неблагоприятные условия их деятельности, успели провести в первую гимназию освободительную реформу. Дозволено было читать книги во всех классах. Новый инспектор Попов тоже сначала примкнул к молодой партии, но он на первых же порах настолько уронил свою репутацию, что потерял свой кредит навсегда.

Еще до вступления Попова в должность инспектора был один случай, который мог дать понять новому инспектору, что сахаровские времена прошли.

Учитель французского языка и вместе с тем надзиратель, по фамилии Девиц, имел скверную привычку, проходя, колотить воспитанников. Раз как-то за ужином Девиц подошел к башкиру Искендереву, схватил его за ворот и крикнул:

— Отчего у тебя, болван, куртка не на все пуговицы застегнута?

Искендеров схватил громадный графин с водой, бросился на Девица и крикнул:

— Прочь, сапожник!

Девиц отскочил от Искендерова и залепетал:

— Сейчас уйду, сейчас уйду,—и бросился бежать.

Начальство сначала решило-было доставить

себе удовольствие и угостить виновника поркой, а затем выгнать, но этого сделать не удалось: седьмой класс через одного учителя довел до сведения Крелленберга, что если он не желает на первых порах своего директорства устроить себе скандал, то пусть исключит Искендерова, но против порки примут свои меры.

— Какие же свои меры они примут?—спросил Крелленберг.

— Они подадут прошение об увольнении из гимназии.

Размыслив аккуратно, Крелленберг решили удовольствоваться увольнением Искендерова из гимназии.

Второй инцидент заключался в следующем:

Двое гимназистов напились пьяными. Их отправили в больницу для вытрезвления, а на другой день отрезвившихся привели в дортуар для порки, при которой присутствовали Крелленберг и вновь поступивший инспектор Попов. Новый инспектор любил поговорить и перед экзекуцией произнес обвинительную речь и скомандовал:

— Бери их!

— Мы не дадимся,—ответили мальчики и влезли на подоконник открытого окна.

Сторожа бросились к ним, но не успели захватить их: один спустился по водосточной трубе, а другой оборвался и вывихнул себе руку.

Об этом сейчас же было доложено попечителю князю Вяземскому, и история разнеслась по всей Казани. Год тому назад на такой инцидент никто не обратил бы никакого внимания, а в данную минуту из этого вышел скандал.

— Опять начинаются истязания в I-й гимназии! Отчего во II-й обходятся без живодерств?

Попов попробовал было восстановить свой престиж, но это ему не удалось, и вместо того начали появляться рукописные сатиры на погибшего либерала. Как я уже раньше сказал, нам, грамотным людям, было разрешено читать книги; но теперь дело пошло дальше: ученики сами стали составлять свою библиотеку, седьмой класс в складчину выписывал „Современник", а в пятом классе издавался рукописный журнал „Артель". Кроме этого, по инициативе инспектора Попова, который старался восстановить свою репутацию, заведены были для учеников мастерские—столярная, токарная и переплетная.

Это было очень полезное учреждение. Многие ученики выучились хорошо точить; были и хорошие переплетчики. Некоторые даже продавали свои изделия; учителя давали заказы. Это было здоровое и полезное развлечение для детей, но оно продолжалось недолго. Крелленберг возненавидел мастерские и добился их закрытия.

— Это только у русских можно делать такие глупости,—решил немецкий педагог.

В старые годы университет и гимназия стояли друг от друга особняком. Теперь же ученики старшего класса завели знакомство со студентами. К нам попадали такие книги, как, например, „Сила и материя" Бюхнера, листы „Колокола" и другие новинки.

Теперь пора сказать о том, что происходило вне нашей гимназии. Как-то раз в будничный день нас повели в церковь.

— Зачем это нас ведут в церковь?—спросил я не помню уже кого из своих товарищей.

— Бумага будет объявлена,—воля крепостным крестьянам.

— Да, вот и мужиков на волю отпустят, а мы все будем в крепостной зависимости от наших бурмистров и становых. Захотят—будут пороть; не захотят—помилуют,—заметил один из гимназистов, идя слушать манифест.

Я не буду говорить ни о бездненском деле, ни о последовавшей за ним панихиде, на которую попали и гимназисты. В этот вечер хоронили одного из наших товарищей, и мы, идя за гробом, встретились с вышедшими из церкви студентами, которые пели революционные песни.

Точно так же я обойду молчанием историю тайного общества студентов, деятельность Иваницкого и Черняка. Я тогда был еще мальчиком, теперь же все события этой эпохи описаны уже участниками их и людьми, имевшими возможность изучать все перипетии дела о революционном обществе в Казани.

Впрочем, хотя мне было тогда не более одиннадцати лет, кое-что западало и мне в голову. Я горячо отстаивал необходимость отпустить крестьян с землей без выкупа. Читал статьи Добролюбова в „Современнике“ — о темном царстве; знал почти наизусть стихотворения Некрасова, заинтересовался романом „Что делать“ и прислушивался к разговорам на текущие политические темы.

В первые годы царствования Александра II и после неудачной Крымской войны в обществе

стала появляться самокритика, и рядом с этим стали проникать в Россию широкой струею идеи гуманности. Эти идеи на Западе давно уже сделались общими местами, а у нас в них видели чуть ли не потрясение основ, но это направление при молодом государе, задумавшем освобождение крепостных, не имело силы. Лозунгом времени было сознание, что мы страшно отстали. Критиковалось все. Слышались повсюду речи о том, что молодое поколение следует воспитывать в ином направлении; на него возлагали все надежды на будущее, и приверженцы новых идей распространяли их повсюду. Когда же возражали, что гимназистов рано посвящать в общественные дела, то получали на это ответ: кому же, как не молодым людям, внушать новые идеи и порядки? Почему не ознакомить с ними и гимназистов? Ведь им придется жить в совершенно других общественных условиях.

Здесь надобно, однако, сделать небольшой комментарий к этой пропаганде. Это культурно-гуманитарное движение часто и преднамеренно отождествляли с тайными обществами „Земли и Воли“, „Молодой России“, „Великорусса“ и другими политическими организациями. Теперь же мы знаем из опубликованных документов, что политические и тайные общества не имели широкого распространения, и совсем другой характер представляло гуманитарно-просветительное движение. Оно не имело какой либо организации—это было как бы какое-то поветрие. Молодые ученые, учившиеся за границей, сравнивая положение наших учебных заведений с заграничными, ясно

видели, насколько мы отстали от наших соседей. Надо припомнить и то, что в эти эпохи в Западной Европе были сделаны громадные успехи в области естествознания. В области вопросов общественных появились также неизвестные доселе на Руси идеи. Джон-Стюарт Милль отстаивал равноправие женщин, Лассаль произносил свои огненные речи перед рабочими. На все эти новинки сразу набросилось все живое, молодое и любознательное. Петербургский университет допустил женщин в свою среду в качестве вольных слушателей. Вообще в обществе чувствовались веяния надежд на светлое будущее, но разочарование наступило очень скоро. Оказалось, что не все в российском обществе так горячо относились к просветительному движению. Достаточно было одного толчка, чтобы вызвать попятное движение. Вместо энтузиазма появилось уныние, равнодушие и робость.

Обращаясь к шестидесятым годам с высоты полувековой давности, пережив разные перипетии, мы все таки можем сказать теперь, что культурная работа этой эпохи не пропала даром. Взглянем ли на положение русской женщины в обществе, мы видим, что она имела доступ не только к свободным профессиям, но и служить в казенных учреждениях. Семья из домостроевской превратилась в культурную; несмотря на школу времен Толстого с ее герундиями и аористами, явилась возможность устраивать школы культурные. В деревне, хотя и не очень быстро, прививается грамота. Все это стоило больших трудов, горьких разочарований и жертв. Культурное движение

шестидесятых годов было не минутной вспышкой, а неотложной потребностью времени, и оно до сих пор остается одним из светлых промежутков в нашей серенькой жизни. Великая сила шестидесятых годов заключалась в твердой вере в прогресс, гуманность, в науку и будущее. Эта вера разделялась и молодым студентом-энтузиастом и испытанным опытом жизни гениальным человеком—покойным Н. И. Пироговым. Расставаясь со своими сослуживцами по киевскому округу, он дал им в своем прощальном слове совет: „Живите так, чтобы вы могли спокойно вспомнить свою и уважать чужую молодость, этот период бурных и невыясненных стремлений. Уважая старость, мы в ней отдаем нашу дань честно прожитой жизни, но и молодость имеет права на уважение: в ее пылких стремлениях мы видим прообраз великих будущих переворотов, которые придется переживать человеческому обществу в будущем“. В этих словах мы видим заветное credo шестидесятых годов.

Переход в четвертый класс нашей гимназии был в некотором отношении переход через Рубикон. Ученики, начиная с четвертого класса, считались старшими. Перешел в четвертый—окончит курс. Прежде даже назначали учеников старших классов своего рода надзирателями над маленькими, но в то время, о котором я пишу, это уже вывелось. Старшие классы тяготели друг к другу. Здесь ценился уже не возраст, а „развитие“ и начитанность. В то время, когда я сам перешел в привилегированные классы, в гимназии появился новый просветительный элемент—кандидаты в будущие учителя. Окончившие курс в университете,

прежде чем получить штатное место учителя, должны были, под руководством учителя по выбранной кандидатом специальности, позаняться в нашей гимназии. Новички являлись к нам по вечерам помогать ученикам в приготовлении уроков, а потом хорошо подготовленным педагогам поручали преподавание в одном из классов. Вечерние посещения главным образом проводились в беседах. Начальство иногда на это посматривало косо, но эти вечерние разговоры приносили большую пользу. Кроме того кандидаты педагоги приносили нам книги и рекомендовали их прочесть. Новый инспектор Кудряшов попробовал было устроить над педагогами контроль, но даже Креллепберг протестовал против этого: „Эти молодые люди — наши будущие товарищи, и теперь на них ученики должны смотреть так же, как на нас. Молодым педагогам, людям холостым, негде иначе ознакомиться с детьми, как в школе". Благодаря такому неожиданному здравому суждению директора, мы перечитали много книг с хорошим выбором, и это сильно нас подвинуло в ученьи. Учителя изумлялись, как это ученики, шедшие в числе посредственных в третьем классе, хорошо начали учиться в четвертом и хорошо кончали курс. Всему этому, впрочем, мы обязаны тому прогрессивному движению шестидесятых годов, о котором я уже говорил. Не будь этого светлого подъема начала нового царствования, и в школах господствовала бы рутина, и кандидаты-педагоги держали бы себя иначе. Наш класс все-таки успел кончить гимназию еще до толстовских реформ. Кончив курс в гимназии, я почувствовал себя на распутьи. Куда

идти? Хотелось бы поступить в университет; но я знал, что отцу не под силу будет содержать меня и старшего брата в университете. С этим раздумьем я и приехал домой.

III. Перед университетом.

Говорили об этом очень долго; я ясно видел, что „помочь" мне отец сможет, но содержать на свои средства ему меня невозможно. Я решил остаться на год дома и поступил в домашние учителя к помещику Протопопову, но прожил там недолго. Вышло недоразумение, и я вернулся на свое старое пепелище к отцу. Я занимался зиму математикой и перечитывал книги, которые взял с собой. Заработков нигде не оказывалось. Единственным моим развлечением была выездка лошадей. Соседние помещики не представляли собой чего-либо интересного. В годовые праздники соседи съезжались к нам, наша семья также в свою очередь отдавала визиты, и все это вместе взятое представляло ужасную скуку.

Настала весна, к нам стали наезжать мещане из Хвалынска,—нанимать землю под посев. Народ все был знакомый, и вот один из них сказал мне:

— А что бы тебе посеять десятинки две, бог даст уродится хлеб, мы его вместе уберем, свезем на пристань,—вот тебе и денежки в руки.

— Это хорошо бы, да ведь все-таки риск, Петр Самсонович!

— Э, брат, барышей не бывает без риску, а теперь, твори бог свою волю, пока весна хорошая. Посеем-ка рядышком два загончика. Меня не бу-

дет у вас за Волгой, я буду в Хвалыни, ты присмотришь за полем. Тебе что! Оседлай сивого, да и сбегай на пашню.

Идея эта понравилась нам, и мы с отцом решили заняться посевом.

С тем же Петром Самсоновым мы выбрали поле, наняли пахарей и засеяли хорошей белотуркой, хотя мой компаньон уговаривал меня купить семян подешевле. На наше счастье лето было благоприятное, и хлеб уродился на славу.

— Вот видишь, брат, мы с тобой много лишнего переплатили за семена, а хлеб у нас такой же, как и у других. Глядишь, денежки-то в кармане были бы.

— Погоди, вот увидим, какой будет хлеб, когда пшеница зерно начнет наливать.

— Эх ты! не от налива, а от бога хлеб родится!

Эти разговоры частенько повторялись у нас, но под конец лета старик стал сдаваться на мою сторону...

Бывало, только приедет к нам из Хвалынска и сейчас зовет:

— Оседлаем коньшек и поглядим на нашу пшеничку.

Не мы одни с товарищем, а и весь уезд, да пожалуй и все нижнее Поволжье находилось в таком же напряженном состоянии.

Рядом с этим появились посланцы из Симбирской и Нижегородской губернии собрать сведения, каковы хлеба в Самарской губернии, и узнать, много ли народа потребуется на уборку. На Волге, на пристанях, тоже шла горячая работа: пшеничники торопятся готовить барки для грузки хлеба, чтобы он осенью поспел заграницу. Все это гото-

вится, затрачиваются деньги, делают займы, а у каждого на уме: а что же будет, если ударит град? Одна только надежда на то, что не может по всему Поволжью разразиться град, что не весь хлеб погибнет.

Волновались и мы с Петром Самсоновичем.

— Эх, как бы благополучная погода простояла бы еще с недельку,—молил мой товарищ.

— Будет, будет на наше сиротское счастье,— ободрял я не в меру мнительного компаньона.

Наконец настала пора взяться за серпы. Все, у кого было посеяно несколько десятин, встрепенулись и отправились в Хвалынск нанимать жнецов.

Товарищ обещал меня ждать на базаре. Переправившись через Волгу, я прямо направился на базар. Вся площадь занята была группами людей. Вот стоит группа симбирцев из Сенгилеевского уезда; рядом с ними хвалынские татары. Русские стоят смирно и только изредка перебрасываются короткими замечаниями.

Татары оживленно беседуют между собой и переговариваются с соседними группами. Дальше кучка мордвы. Мужчины в русских рубахах, бабы и девки в своих шушпанах, с расписными кичками на головах. Которые помоложе, уже заводят разговоры с парнями. Тут же на базаре, как хозяева города, стоят хвалынские мещане и мещанки. Косо посматривают на разряженных девиц приезжие жнецы.

— И эти тоже, смотри-ка, серпы на головах держат! Вы бы лучше подушки взяли с собой! Вы ведь не жать, а под межой лежать собираетесь за Волгой-то!

— А вы-то зачем, оборванцы, прицепились к нам? Жрать дома нечего, должно быть!

— Разумеется, нужда гонит нас; что же делать-то! Мы работать пришли, а не девками торговать!

Переходя от одной группы к другой, я встретился с Петром Самсоновичем.

— А, и ты уж здесь?—спросил товарищ.

— Как же! Я поторопился.

— Чего торопиться? Видишь—базар ломится от народа.

— Ты прицепивался?

— Спрашивал, да больно дорого просят. Подождем; хозяев-то на базаре немного. Давай-ка зайдем в трактир посидеть. Ты чайку попей, а я посижу с тобой, я уж закусил.

Я купил себе булку, и мы пошли к досчатому балагану, на котором висела надпись—„ристерация". Он стоял на полугорке, и когда мы подошли к заведению и обернулись назад, весь базар виден был как на ладони. Вся базарная площадь усеяна была группами жнецов, и в середке каждой артели стоял вожак и держал над головой связку серпов, которые горели огнем, под лучами поднимающегося из-за Волги солнца.

„Вот они, божии ратники — мирные дети труда",—невольно вспомнился стих Некрасова. Одни пришли пешком, ночуя где-нибудь под стогом или под забором (в избе ночевать—надо платить), другие приплыли на косных, у кого были грошенки, прибежали на пароходе.

— Что-же, пойдешь в трактир-то? Над чем задумался?—толкнув меня под бок спросил товарищ.

— Думаю, что будет с этим народом?

— Известно, что будет: перевезут их за Волгу, укажут им место, где будут работать; мы поставим им балаган, будем возить им пищу; жнецы будут работать, а мы за ними смотреть. Иди-же пить чай-то.

Мы вошли в барак, там сидело уже несколько человек хозяев, по большей части знакомый народ—помещики и приказчики, прасолы и доверенные пшеничных королей.

— А, и вы за жнецами?—обратились ко мне со всех сторон. Вы уж цены-то там не портьте.

— Наше деле маленькое.

— Да что вы не садитесь; чайку не угодно ли? А может быть тенерифцу выкушаете?

— Мы не гулять приехали; вам-то можно погулять, у вас хозяева богатые, а мы сами хозяева и сами работники,—отрезал Петр Самсонович.

— Ну коли уж так—соберите чайку,—кликнул приказчик из имения Воронцова.

— А я к чайку-то не прикладываюсь. Пойду посмотреть на базар,—решил мой товарищ и вышел.

— Прямой мужик неотесанный этот Петр Самсонович; чем бы компанию поддержать, а он на базар. Успеем еще.

— Известное дело—старообрядец.

— И кулак преестественный.

— А вы как же думаете, разве какой порок старообрядчество-то?—заметил угрюмый прасол, сидевший в углу.

— Бросимте, господа, этот разговор. Подумаем лучше, не пора ли наведаться насчет цен—предложил я.

В эту минуту вошел в трактир новый посетитель, оглянул компанию и сел в угол.

— Говорят, мальцевские приказчики приехали нанимать—сказал новопришедший.

— Ничего, мальцевские цены не испортят.

Мы принялись за чай и от скуки болтали о разных пустяках. Дело подходило уже к обеду. Двое из собеседников вышли посмотреть цены. Минут через десять возвратились и объявили, что пензенские пришли, а к вечеру, говорят, еще партия придет.

— Ну, теперь наша взяла, сразу спустят цену.

— Что-ж, не заказать ли селянку со стерлядью?

Большинство приняло предложение. Не успели мы позавтракать, как поднялся страшный крик на базаре. Мы выскочили из барака и увидели, что чуть ли не весь базар набросился на какую-то кучку людей с серпами.

— А, так вы—пензенские! Из какого уезда? Какой волости? Вы мошенничать! Мы вам покажем, как надувать людей!

— Братцы,—это не пензенские! Это все колотиловские работники!

— Ну-ка ты, пензенский! Разве не ты был в прошлом году на хуторе Колотилова, в кучерах! Ты—Федор Кондратьев! Бейте, бейте их!

— Накладывай им кулаками пять рублей за десятину!—кричала разъяренная толпа жнецов.

— Гнать их дубьем до самой Пензы!

Драка разгоралась не на шутку. Я подошел к своим и предложил съездить к исправнику, чтобы тот вызвал команду солдат для усмирения. Кто-то подъехал ко мне на дрожках, я сел и помчался к

исправнику. Приехав к нему, я, не слезая с дрожек, рассказал, что делается на базаре. Исправник дал знать в местную команду, а мы помчались назад и въехали в самую толпу.

— Что за драка? Что за беспорядок?—гаркнул градоначальник.

— Меня избили, ваше воскородие! Меня хозяин послал!—жаловался один из избитых.

— А, так тебя избили! Мало еще били вас, подлецов! В острог вас, обманщиков!

— Нас хозяин послал, ваше воскородие!

— А если бы тебя хозяин послал деньги украсть, ты украл бы?

Виновный почесал голову.

— Отведите этих пензенцев в каталажку!—распорядился исправник пришедшему взводу солдат.

— Это все правильно, ваше воскородие, но как вам угодно, мы подадим жалобу на Колотилова вам же. Ведь здесь, на базаре, при народе, эти болваны вздумали устроить мошенничество—заявил один из приказчиков воронцовского имения.

— Будьте уверены, я при всех обещаю делу дать законный ход, иначе придется на каждый базар высылать команду—заявил исправник.

— А что, не заедете ли ко мне позавтракать?—предложил исправник мне.

Я отказался за недосугом.

— Ну, а в газетах будете писать об этом, продернете Колотилова?—полюбопытствовал градоправитель.

— С большим удовольствием.

Скверно было у меня на душе; утром идиллическая картина на восходе солнца, целые сотни

народа, пришедшего заработать копейку и помочь таким же беднякам, как они, а под конец гнусный обман в надежде получить за свою подлость по шкалику водки.

Эта история испортила весь базар. Жнецы страшно обозлились и заламывали несуразные, небывалые цены. Нанимая русских, приходилось выслушивать целый ряд ругательств. Подойдешь к татарам, старший заламывает дикую цену и при этом снимает свою войлочную шляпу.

— Дорого просишь, князь!

— Что же делать,—дурак просит много, умный мало дает.

Бились мы со жнецами довольно долго. Напрасно мы доказывали, что мы не ответчики за Колотилова, и, наконец, все целиком решили уехать из Хвалынска и нанять жнецов в Балакове. Угроза эта не подействовала сначала, но когда мы все решили отправиться за Волгу, одна татарская артель сдалась на назначенную нами цену, а за ней потянулись и другие. Переехавши за Волгу, мы разобрали работников: одних взял себе Петр Самсонович, других—я. Наши посевы были рядом, и может быть благодаря этому мы чуть не рассорились с ним. Приедешь, бывало, на жнитво, отвезти крупу, хлеб, мясо; товарищ сердится.

— Да ты что, на убой, что ли, хочешь эту татарву кормить?

— Ты, товарищ, рассчитывай как знаешь, а по моему надо сперва кормить работника, а потом работу спрашивать.

— Больше будешь кормить, больше спать будут!

— Ты, Петр Самсонович, делай, как знаешь, а я по своему.

Уже под конец жнитва я повез хлеб жнецам и по дороге встретился с приятелем. Поздоровался.

— Далеко едешь?

— Видишь—хлеб везу. А у тебя что? Жнут?

— Жнут, да артель-то плохая. Работать-то не горазда, а пищей-то настойчива. Это—вечер дал я им сухарей к кашице, да так маленько с червями. И то какой ропот подняли.

Это было сказано безнадежным тоном пророка-обличителя, потерявшего последнюю надежду на исправление рода человеческого, погрязшего в чревоугодии.

IV. В Казани.

Пшеницу мы продали хорошо. Это было большой заручкой для семьи. Распростившись с домашними, я направился в Казань. Исполнив все требуемые формальности, я вступил под кров almae matris и записался на математический факультет. Я встретился со своими бывшими сверстниками по самарской гимназии, но из тридцати товарищей второго класса я нашел только всего человек шесть. Как бывший воспитанник казанской гимназии, я естественным образом явился гидом моих бывших товарищей в странствовании по канцеляриям. Это было, особенно для провинциалов, довольно трудная задача. Спросит новичек, куда вносить деньги за право слушания лекций, и вдруг слышит ответ: „В губернское казначейство“.

— Что же; надо в казначейство идти?—спрашивает приезжий, а в трех шагах от спрашивающего комната, где чиновник принимает взносы за первое полугодие.

Расправившись с университетскими делами, нужно было искать прибежище. Это тоже было дело нелегкое! Студентов не любили принимать хозяйки. Я переменил три квартиры в течение месяца, и, наконец, перетолковавши с своими земляками, мы решили нанять квартиру, устроиться втроем и питаться в кухмистерской. Такие общежития носили название „скитов".

Казанское студенчество не напрасно пользовалось репутацией кутил.

В казанском университете сложились эпос и лирика, посвященные разным явлениям студенческой жизни. Но так как жизнь студенческая в Казани была крайне бедна интересами, то и поэзия была бедна содержанием. Впрочем, это можно было сказать и о других университетах. Еще Белинский скорбел о том, что Полежаев не мог в студенческой среде найти сюжетов, достойных его таланта: „Что описывать было? Студенческие попойки, деву-красоту, у которой перси всегда полны, а сердце пусто?" С казанским обществом студенты имели очень мало сношений: большая часть студентов состояла не из городских обывателей, а из уроженцев низовых губерний и Сибири. К юбилею Казанского университета старый казанец, врач Аристов, положил на ноты мотивы студенческих песен и издал их. Содержание их ясно

указывает, что у поэтов все темы взяты из узкой среды интересов студенческой жизни.

Где же было влияние профессоров?—спросит кто-нибудь из читателей. Влияние профессоров как-то стушевалось вскоре после временного закрытия казанского университета, и в наше время в нашем учебном округе, уже под управлением попечителя Шестакова, сильно стало припахивать реакцией; Катков и Леонтьев с „*Московскими Ведомостями*“ стали во главе борцов против реформ. Наш казанский университет испытал на себе влияние духа времени. Кроме экзаменов, введены были полугодовые репетиции. Науки начали делиться на полезные и вредные. Полезными считались классические языки, на филологическом факультете прибавлено было больше стипендий, на естественном факультете они были сведены до минимума. Где же тут было заводить академическое общение между учащими и учащимися? Были, конечно, частные сношения профессоров со студентами у медиков и натуралистов, отчасти у нас, математиков, потому что иначе нельзя было вести преподавание. В это время были примеры, когда студента-математика, отлично выдержавшего экзамен по предметам курса, оставляли на второй год на том же курсе за невыдержанием экзамена из богословия.

Что же сказать о наших преподавателях? На математическом факультете были преподаватели, знающие свое дело. Вот все, что можно сказать о них. Знаменитостей на математическом факультете не было. Интересную личность представлял профессор физики — Больцани. Он в сороковых

годах был приказчиком в нотном и музыкальном магазине. Раз как-то зашел в этот магазинчик знаменитый казанский геометр Лобачевский и застал приказчика магазина за книжкой. Приказчик, читающий книгу в лавочке, заинтересовал Лобачевского, и профессор заглянул в книгу. Оказался какой-то трактат по вычислению бесконечно малых.

— Понимаете ли вы, что читаете? — спросил Лобачевский.

— Зачем бы я стал читать то, чего я не понимаю, — тоном обиженного ответил Больцани.

— Я не думаю, что вы читаете книгу, не понимая ничего, но в математических книгах встречаются трудные места.

— Нет, книга, которая лежит перед вами, написана довольно понятно.

Лобачевский стал расспрашивать, как и когда стал интересоваться его новый знакомый математикой. Оказалось, что занимался этим он еще будучи подростком. Видя такое рвение к науке в молодом человеке, профессор заинтересовался им и на первый случай принял его в качестве гувернера, а потом дал ему возможность докончить высшее образование и занять кафедру профессора физики. Это был оригинальный человек и, как все, или, вернее, многие аутодидакты, желал знать все. Изучив основательно механику и физику, он не ограничился этим. Его интересовали все отрасли не только естествознания, но и гуманитарные науки, и право, и история. Он обладал изумительной памятью, но он из своих знаний не смог выработать себе стройного миросозерцания.

Поэтому и лекции его носили крайне неровный характер. Некоторые его лекции были превосходны, другие же крайне не систематичны. Следя за новыми открытиями и теориями, он читал превосходные лекции о теплоте, а на явления электричества и магнетизма у него не хватало времени, и мы ограничивались тем, что давала физика Ленца для средних учебных заведений. Пополняя свои знания, Больцани сам только собирался работать. Он часто ездил заграницу и, возвращаясь оттуда, сообщал о том, что он думает начать работу по какому-нибудь новому вопросу; но работа не подвигалась, слишком уж много появлялось работ по опытным наукам, и вместо специальной работы наш физик читал книги. Громадные знания Больцани так и умерли вместе с ним. Некоторые студенты пробовали заниматься у Больцани в кабинете, но, благодаря неуживчивости характера, ни с одним ассистентом он не мог поладить.

Учеников он не оставил после себя.

Другим из видных профессоров считался астроном Ковальский; но это был человек в высшей степени недоступный и тоже не оставил после себя наследников.

Самым популярным из профессоров, которого слушали студенты всех факультетов, был профессор философии Троицкий. Раньше него этот предмет преподавал профессор богословия, которого никто не слушал. Троицкий был последователем английской школы мыслителей и, примыкая к позитивной школе, начал преподавать логику по Миллю, а психологию по Бэну. Это был прекрасный лектор и появился как раз во-время. В жур-

налах начали встречаться статьи о позитивизме. Любимец тогдашнего интеллигентного читателя, Бокль, в своем труде многократно ссылался на Огюста Конта. Переведена была на русский язык история философии Льюиса; но этим не удовольствовались. Один из членов нашего студенческого кружка, Павел Максимович Топорнин, сумел добыть „Cours de philosophie positive", считавшийся в числе запретных книг, и принялся штудировать вплотную. Он настолько вчитался в своего любимого писателя, что свободно, à livre ouvert, читал его без запинки. На эти чтения собирался небольшой кружок, а после чтения начинались дебаты. В эту пору Тиблен начал издавать сочинения Герберта Спенсера. Рядом с контистами, появились последователи Спенсера. Одно время даже существовал студенческий клуб; но он продержался недолго. Один из богатых студентов нашел хозяйку для этого клуба. Она открыла кухмистерскую, и в ней по вечерам собирались клубисты; но клубную хозяйку надо было поддерживать, а большинство клубистов были люди маломочные, с трудом поддерживавшие свое существование. Пришлось отказаться от клуба и собираться по квартирам у товарищей. Это было довольно неудобно. Иногда хозяин был занят или болен, а другие прямо заявляли, что у них много своих занятий научных и позитивизмом они нисколько не интересуются. Топорнин, наш маленький Конт, произносил свирепые филиппики против охотников за дипломами, утверждал, что студенты профанируют науку. Во многих случаях эти упреки были справедливы, но не совсем своевременны,— подходило время экзаменов.

— Ну вас с вашей философией! Некогда, свои экзамены на шее, да кроме того двух студентов нужно подготовить. Пятьдесят рублей обещали дать, если перейдут на четвертый курс.

Экзамены я сдал удовлетворительно и с логикой Милля уехал на вакацию. Вернувшись из дома, я прежде всего разыскал Топорнина и встретил его в восторженном настроении.

— Ну, брат, идеи начинают управлять нашим миром!

— Что же случилось?

— Как, разве ты позабыл, что с весны мы начали собирать книги для составления общей студенческой библиотеки? Больше сотни книг уже имеется! Два журнала и три газеты выписываем!

— Да кто же хлопотал об этом?

— Да ты все позабыл! Конечно, Витевский! Он задал себе задачу добывать по три книги в неделю, а теперь, при помощи других, удалось гораздо больше, чем мы рассчитывали. Пойдем к Витевскому, библиотека у него.

Мы побежали смотреть наше новое учреждение. Оно состояло из двух маленьких комнаток; в одной, самой крошечной, ютился заведующий, там стояли его кушетка, столик, стул и небольшая полочка, на которой находились учебные книги Витевского.

— Что же, это библиотека? — спросил я.

— Нет, это — медицинские книги, — объяснил Топорнин.

— Библиотека у меня вот где,—сказал Витевский, растворяя двухстворчатую дверь в другую комнату, и указал на ряд простых деревянных полок, заставленных книгами.

— Что же ты, Топорнин, говорил о сотне книг, их тут больше трехсот.

— А ты вот зайди посмотреть на нашу библиотеку через недельку, когда книги из переплетной привезут, — сияя от удовольствия, заявил наш библиотекарь.

— Что же, брат, надо библиотеку-то вспрыснуть, — предложил Топорнин.

— Погоди немного, скоро придет Василий Семенович Соколов; все пойдем в кухмистерскую к Шумковой, а там увидим, что дальше будет.

Соколов не заставил себя ждать, и мы отправились вместе с ним обедать. Целый обед проговорили о библиотеке и снова в большем числе лиц отправились к Витевскому. Все это были люди, только что вернувшиеся с каникул. Значит, были еще кое-какие деньжонки, а потому на столе появились самовар, закуска и водка.

Топорнин предложил выпить за процветание библиотеки; затем пили за библиотекаря, за жертвователей, а потом пошли и другие тосты. Среди шума отдельных разговоров поднялся Соколов и попросил слова.

— Господа,—начал он,—вы теперь видите, что наша идея общедоступной библиотеки осуществляется. Мы можем сказать, что в небольшой срок мы сделали достаточно. Мы имеем подписчиков в городе. Нам остается только обеспечить существование нашей библиотеки, так сказать, легализировать ее. В городе уже есть две библиотеки — одна общественная, другая частного предпринимателя, и я думал бы, что уже пора как-нибудь легализировать и нашу.

— Ну, брат, это — дело серьезное, а теперь я отказываюсь вести серьезные разговоры. Я сообщу вам лучше интересную новость в нашем ученом мире, — сказал Топорнин.

— Какую?

— Едет к нам новый профессор философии Троицкий, недавно вернувшийся из заграницы. Говорят, что он очень много занимался английскими философами. В Петербурге на докторском диспуте он обнаружил громадную эрудицию не только по своему специальному предмету, но и по естественным наукам. Вместе с Троицким из Петербурга приехал наш студент Спешков, который был на диспуте нашего нового профессора.

Слухи о новом профессоре скоро разнеслись по университету, и на вступительную лекцию набралось столько народу, что ни одна из самых обширных аудиторий не могла вместить желающих послушать Троицкого. Я опоздал всего на несколько минут к началу лекции и нашел, что пробиться в аудиторию нет никакой возможности; те же, которые успели заранее завоевать местечко, после лекции были очарованы новым профессором. Все говорили, что он очень наглядно обрисовал роль философии среди других человеческих знаний и в конце-концов привел публику к выводу, что и философия в своих исследованиях должна руководствоваться теми же приемами, как и наука. Лекции Троицкого всегда были полны, и сначала мы думали, что наконец-то у нас будет профессор, с которым можно будет советоваться насчет занятий по его предмету, и дело пошло было на лад; нашлись студенты, которые пожелали зани-

маться, но у большинства недоставало предварительных знаний. Может быть, Троицкий и нашел бы себе настоящих учеников, но как-то не сошелся с профессорской коллегией, скоро перевелся из Казани и впоследствии был профессором в московском университете. Как бы то ни было, Троицкий все-таки принес нам немалую пользу. Мы познакомились с Юмом и Локком, с Ридом и Догальд-Стюартом и с психологом Бэном, не говоря уже о Герберте Спенсере и Джоне-Стюарте-Милле.

Кроме нашего кружка, позитивистов, повидимому, в Казани не было других каких-либо научных кружков. Собирались только группами для подготовки к экзаменам; но после экзамена эти группы рассыпались.

Была, впрочем, между студентами крепкая экономическая связь. Сколько мне известно, в начале 60-х годов во всех университетах имелись кассы для помощи нуждающимся студентам, но, как кажется, во время студенческих волнений эти кассы были уничтожены совсем или перешли в руки инспекции. В казанском университете как-то сохранилась эта касса в руках студентов и управлялась студентами. Каждый курс выбирал депутата, который и должен был заявлять на собрании всех или большинства депутатов о нуждах своего курса. Из депутатов выбирался кассир, который вел приходо-расходные книги. Сущность операций кассы заключалась в выдаче ссуд под залог вещей и стипендий. Ежемесячно кассир отправлялся к одному из суб-инспекторов и получал деньги для передачи депутатам, а депутаты передавали деньги

заемщикам. Крайне странно было положение нашей кассы. Она считалась яко бы конфискованной, а вместе с тем не начальство распоряжалось деньгами, а студенты. Вообще это учреждение носило несколько странный характер. Цель его была давать пособия неимущим товарищам, но средства кассы были настолько ограничены, что пособия выдавались очень редко. Источником этих пособий служили проценты с займов, делаемых студентами, и проценты были варварские, по копейке на рубль в месяц. Стипендиаты так или иначе с рассрочкой покрывали свои долги. Трудно было извертываться тем, у которых не было других рессурсов, кроме скудных пособий из дома или от уроков.

V. В Петербурге.

Окончив свои экзамены, я перешел на второй курс, уехал домой на каникулы и снова решил заняться посевом пшеницы, но на этот раз урожай был гораздо хуже прошлогоднего. От всех хлопот очистилось только пятьдесят рублей. С этими капиталами я приехал в Казань, внес плату за право учения и принялся искать уроков. Но несмотря на то, что тогда в Казанском университете было всего 300 студентов, урок или какое-нибудь занятие было крайне трудно найти. Цены на репетиторский труд были сбиты до нелепого минимума. Урок в 10 рублей в месяц считался уже очень хорошим, но нередки были случаи, когда студент за ежедневные занятия с одним или двумя учениками получал 5 рублей в месяц.

Старший брат учился в петербургском университете и усиленно звал меня к себе. Я промаялся с грехом пополам до весны, перешел на третий курс и решил осенью перейти в Петербург. Там был у нас родственник—студент Медико-Хирургической Академии, женатый на моей двоюродной сестре. Оба родственника звали меня в Петербург.

„Если мы с женой и ребенком сумели устроиться в Петербурге, то вам с братом, наверное, удастся добыть себе какое-нибудь занятие“,—писали они. Продав кое-что из домашнего скота и выручив 100 рублей, семья отправила меня в Петербург.

Огни зажигались вечерние,
Был ветер и дождик мочил,
Когда из Самарской губернии
Я в город столичный входил.

Не зная, куда направиться, я стоял на платформе и ждал, когда разредится толпа; оглядываясь по сторонам, я заметил высокого блондина, который, видимо, искал кого-то в толпе.

— Вы, должно быть, Клеменц? — спросил меня блондин.

— А вы—Юрий Дмитриевич Кареев?

— Да, это я. Поедемте ко мне. Жена немного нездорова, но вы не стесните нас. Мы уже заготовили вам комнатку. Извозчик у меня готов. А где же багаж ваш?

Я подхватил свой чемоданчик, и мы, уместившись на пролетке, через четверть часа очутились на Владимирской улице, где жили мои родствен-

ники. Поднявшись на третий этаж, я сунул свой чемодан в указанную мне комнатку, привел себя в порядок и вошел в освещенную комнату, где было несколько человек гостей, студентов медиков, товарищей Кареева. Меня познакомили с присутствующими, и прерванный разговор снова начался. Темой разговора было Нечаевское дело, о котором я слышал еще в Казани.

— Что касается меня, я не сочувствую таким затеям, особенно в тех случаях, когда господа заговорщики, не стесняясь в средствах, прибегают к убийствам и, как оказывается, просто напросто шпионили друг за другом, — сказал угрюмый брюнет.

— Что же, ведь в истории мы видим много примеров, когда освобождение народа начиналось с заговора,—заметил другой гость.

— Я с вами согласен. У нас на глазах совершилось освобождение Италии, и в этом громадном политическом перевороте немалую роль играли заговорщики,—сказал третий гость.

— Как вам угодно, но если бы не было Гарибальди, и Франция не вмешалась бы в это дело, то вряд ли вышло бы что-нибудь серьезное. Там весь народ ждал только боевого клича. А мы знаем теперь, что все заговорщики, кроме Нечаева, арестованы, и силы их известны теперь всем,— снова вставил свое слово брюнет.

— Да что же это такое! Брат подумает, что у меня здесь какое-то секретное совещание. Поговоримте лучше о чем нибудь другом; брат устал с дороги; пора и закусить.

— Что касается меня, то во всяком случае

ваш разговор меня очень интересует. У нас, в провинции, носятся только смутные слухи о деле Нечаева, и теперь, после нашей беседы, я вижу, что дело это далеко не так уж громадно, как я думал.

— Ну, господа, к чаю! И поговорим о том, как устроить брата,—сказала Кареева.

— Что же вы намерены делать здесь?—спросил брюнет.

— То же, что делал в Казани. Поступлю в университет, займусь делом и буду искать уроков,—сказал я.

— На первый случай у меня уже есть урок, но небольшой: меня просили рекомендовать учителя заниматься с мальчиком; вознаграждение— рубль за часовой урок,—сказала Кареева.

— Ну, вот и отлично! Только что попали в Питер и сразу работу нашли,—сказал брюнет.

Утром я захватил с собою бумаги, направился в университет и спросил, можно ли видеть ректора. Какой-то чиновник ответил мне, что ректор заграницей, а должность его исполняет профессор Гордон.

— Мне все равно, я желаю перейти в Петербургский университет и принес свои бумаги.

Я долго ждал Гордона, наконец он вышел, и я подошел к нему.

— Что вам нужно?—прорычало начальство.

— Я желаю перейти в ваш университет и прошу позволения подать прошение о зачислении меня в студенты. Позвольте мне представить вам мои документы.

Гордон взглянул на них и, повернувшись спиной, буркнул на ходу: „Я еще не получил никаких бумаг из Казанского университета“—и ушел.

„Однако, здесь не очень-то любезное начальство. Человек пришел за серьезным делом, а он и знать не хочет!“

Я целые две недели бегал в университет за справками и добился толку только тогда, когда вернулся ректор Кеслер. Он принял меня очень любезно, пожалел, что меня задержали, и сказал, что теперь все улажено, и я могу немедленно же получить у секретаря по студенческим делам вид на жительство.

Петербургский университет показался мне чем-то страшно громадным. В Казани все студенты знали друг друга, а здесь это было совершенно невозможно. Петербургский студент был чем-то неопределенным. Здесь были дети богачей, князей, людей среднего состояния и довольно большой контингент бедняков. С новыми товарищами-математиками мне как-то не удалось сойтись. Слышно было, что есть какие-то студенческие кружки, но крайне замкнутые. Я встретил несколько человек, перешедших из Казанского университета, и я только с ними поддерживал сношения.

Что касается до профессоров, то лучших вряд ли где можно было встретить в русских университетах, и я очень благодарен нашим профессорам. Они дали мне основы математического образования, с которыми я впоследствии мог без затруднения слушать лекции заграничных профессоров. Это, впрочем, было и не мудрено. Достаточно сказать, что моими учителями были Сомов,

Чебышев, Савич. Вообще в Петербургском университете можно было хорошо учиться, но за то не было того, что было в Казани. Там у нас была своя студенческая касса и своя библиотека. Здесь же этого было сделать нельзя. Нас, казанцев, никто не знал, да и кроме того постепенное раскрытие внутренних отношений организации Нечаева развило сильную недоверчивость среди молодежи. Конечно, в такое время, когда рабочий вопрос поставлен был на международную почву, а в России уже обнаружились все недостатки реформы 19-го февраля, необходимо было ознакомиться со всеми вышеуказанными явлениями, но тут всегда вспоминался Нечаевский заговор с его выслеживанием своих же товарищей и стремлением к диктаторству. Но молодежь не может жить в атмосфере недоверия. Как-то сами собой образовались кружки для изучения социального вопроса и современного экономического положения русского крестьянства и рабочих. С этою целью в рабочих кварталах Петербурга основалось несколько школ. Прежде чем обратиться к политической деятельности, надобно было сначала узнать, как думает о своем положении народ. Разумеется, народ в лице наших знакомых отвечал, что живется плохо. Большинство только у нас выучилось грамоте. Слухи о том, что в Петербурге есть люди, которые учат рабочих грамоте, дошли до деревень. Оттуда получался запрос, нельзя ли послать в деревню учителей. С этого и началось хождение в народ. Предполагалось, что путем этого общения удастся внести несколько света в деренскую тьму, но из этого вышло чуть ли не стихийное движение.

— Зачем ты идешь в деревню? — спросил я одного приятеля.

— Мы только говорим о народе, но не знаем его, и я хочу пожить жизнью народа и страдать вместе с ним.

Таков был ответ энтузиаста, который считал грехом пользоваться благами жизни, когда народ живет в нищете. Другие шли в деревню посмотреть на народ, о котором так много говорили в Петербурге. Были и довольно примитивные фанатики, которые думали, что стоит им забраться в деревню, и она сразу пойдет за пропагандистом. Были и такие, которые пошли в деревню, чтобы не отстать от других. Все это, конечно, было в большинстве случаев мало продумано, и только немногие шли в деревню с целью по личным наблюдениям познакомиться с тем, как живет народ и о чем он думает. Рядом с этим были люди, которые шли в деревню с определенной целью работать среди крестьян в качестве фельдшера, акушерки, волостного писаря или даже деревенского торговца. Стихийность этого движения очень ясно выразилась в рассказе одного из моих знакомых, который придал своему вояжу комический оттенок.

„Вижу я, что почти все мои знакомые „пошли в народ". Пью утром чай и думаю об этом, — почему же я-то не иду туда же? Взял саквояж, побежал на вокзал, взял билет в Новгород и сел на поезд. Проехал несколько станций и все жду, где же мне слезть с поезда, с какого места начинается настоящий народ, и решил сойти на следующей станции. Взял свою поклажу и пошел по деревне. Зашел в деревенский трактир и сел пить чай.

Было воскресенье, народу в трактире много; я завязал разговор.

Один из посетителей попросил меня написать ему прошение. Я исполнил его просьбу, но от вознаграждения отказался.

— Скажи, милый человек, кто ты такой, как звать тебя?—спросил крестьянин.

Я не знал, как назвать себя, и сказал: „Зовите меня Владимиром".

Странствую по тракту. В одной деревне дал я три рубля на лечение больной старухи и опять назвал себя Владимиром.

Не прошло трех дней моего странствования, как сложилась легенда, что по деревням ходит великий князь Владимир Александрович, расспрашивает мужиков, как они живут, помогает больным и бедным. Разумеется, все это дошло до сведения полиции. Меня арестовали и доставили в третье отделение; призвали на допрос. Ну, думаю, теперь я выскажу этим господам все; и произнес им горячую речь о страданиях народа. Говорю и думаю, что теперь меня прямо в Петропавловку, и вдруг вижу, что мои допросчики начинают пересмеиваться. Это меня еще больше взорвало—я начал кричать.

— Успокойтесь. Мы, признаться сказать, мало слушали вас; но мы видим, что вы ни в чем не виноваты. Мы знаем, какие бывают революционеры—вы не из их толка. Идите себе с богом домой, я вас знаю по службе—в инженерном ведомстве, как же вы-то не узнали меня?

Этот рассказ я слышал от самого псевдо-Владимира, и я убежден, что он умышленно

придал своему вояжу несколько комический характер.

Приведу еще одну сценку из эпохи хождения в народ. Раз как-то в Москве я зашел к одному знакомому и услышал от него следующее:

— Знаете, меня просто одолели барышни,—давай им фальшивых паспортов: „в народ хотим итти!"

Только что он сказал это, дверь отворилась, и вошла молоденькая девица.

— И вы уж не за паспортом ли?—недовольным тоном спросил мой знакомый пришедшую.

— Да, я только не знаю, какой взять,—паспорт солдатки, должно быть, будет удобнее для меня.

Мы оба расхохотались.

— Да знаете ли вы, что такое — солдатка? Ведь это — сплошь да рядом деревенская проститутка!

— Ну, может быть, паспорт бабий взять?—уже немного конфузясь спросила она.

— Никакого паспорта я вам не дам. Вы— московская барышня—и деревни-то не видали.

— Как же быть-то мне? Все идут в народ. Мне бы хотелось тоже ознакомиться с народом.

— Это можно сделать иначе.

— Но как же?

— Есть у вас знакомые где-нибудь в деревне? Помещики или хоть сельские врачи?

— Нет. Мне хотелось бы прямо поработать в деревне и вести понемногу пропаганду.

— Вы так молоды, что вас и слушать не будут.

— Идут же другие,—со слезами на глазах сказала девица.

— Идут-то многие, но вряд ли такие, как вы, сумеют устроиться в крестьянской избе; работать вы не умеете.

— Я буду учиться.

— Говорю я вам, что вас засмеют мужики; пришли в деревню работать,—от вас и будут требовать работы.

— Что же, неужели мне остаться в стороне от движения?

— Я вам говорю: поезжайте погостить в деревню к знакомым. Там и учитесь. Ходите на работу с деревенскими девушками. Вас признают простой и доброй барышней. От крестьян вы узнаете, как живут мужики, и потом вы, изведав свои силы на практике, сами решите, сможете ли вы нести тяготу деревенской страды.

Барышня задумалась.

— Приняв мой совет, вы ничего не потеряете и во всяком случае ознакомитесь с деревней, не рискуя попасться с подложным паспортом в руки полиции.

— Хорошо, я последую вашему совету,—и вышла.

— Умненькая барышня! Другие накричат на вас, разбранят, назовут реакционером и пойдут по знакомым добиваться паспорта.

Эти два эпизода носят наивный характер, но в общем это была страшная трагедия, окончившаяся процессом ста девяноста трех. Повсюду скакала полиция, ловила пропагандистов, сажала их в тюрьмы.

VI. За границей.

Подошла осень, и из целой армии пропагандистов осталось очень мало на свободе. Русская молодежь заплатила очень дорого за свою попытку на практике ознакомиться с деревней.

Эта катастрофа произвела на меня крайне тяжелое впечатление, и я решился на этот раз исполнить свою давнишнюю мечту—побывать заграницей. Участвуя в газетах и в журнале *Слово*, я надеялся не остаться без куска хлеба на чужбине. Приехав в Берлин, я очень удачно нашел себе урок русского языка у одного офицера-резервиста, который оказался очень толковым человеком.

— Я бы мог найти себе учителя среди русских студентов-евреев, но у них свой особенный акцент в русском произношении, а я слышал о вас, что вы—коренной русский. Попробуемте поговорить по русски.

— С удовольствием. Скажите, пожалуйста, где вы служили во время последней войны?

— Ну, теперь я вижу, что имею дело с настоящим русским. Мне несколько раз приходилось говорить с русскими, служащими в вашем посольстве; у вас такое же произношение, как и у них.

— А не хотите ли заняться теперь же?—сказал я.

— Очень рад, если только у вас эти часы не заняты.

— Это время у меня занято, но мне хотелось бы попробовать, как у нас с вами пойдет,—сказал я.

Мы проработали с офицером около часа; немец оказался понятливым учеником и после урока заявил мне, что очень доволен первым нашим уроком.

Как новичок, в первый раз попавший за-границу, я прямо таки погрузился в изучение заграничной жизни. Кстати, это было в ту пору, когда после французской войны Пруссия была наверху своей славы. Я бегал с одного собрания в другое, слушал общедоступные лекции в университете и посещал музеи.

— Клеменц, кажется, хочет проглотить Берлин,—говорили обо мне мои знакомые.

В эту же пору подняла голову и социал-демократия. Лассальянцы и эйзенахцы слились в одну социал-демократическую партию. Собрания социал-демократов посещались многими, и я, никогда не видавший народных собраний, заходил на них, когда ожидалось обсуждение какого-нибудь серьезного вопроса. Первое собрание, на которое я попал, было неудачно. Молодой социал-демократ Слаук держал речь о социал-демократической партии и ее противниках. Надобно сказать, что тогда еще не были захвачены агитацией беднейшие слои рабочих. Аудитория была наполнена лицами, получившими некоторое образование и имевшими более или менее обеспеченное положение, и речь оказалась не по аудитории. Вся она состояла из общих мест о страданиях народа, о том, что буржуазия угнетает рабочий класс, а правительство и юнкерство заботятся только о своих „классовых интересах".

— Как вам понравился оратор?—спросил меня русский студент-медик.

— Я ожидал большего. Вся речь состояла из общих мест.

— Не судите по первому впечатлению. Это — еще молодой человек, но речи вождей партии бывают иногда очень интересны.

Мало-по-малу я начал знакомиться с Берлином и его людьми. На собрание одного педагогического ферейна пригласили прочесть доклад приват-доцента Дюринга о воспитании. Я уже давно слышал, что это — очень оригинальный человек и с большой и разнообразной эрудицией, несмотря на то, что он был слеп, и книги ему читала жена. Эта самоотверженная женщина выучилась по-латыни, чтобы помогать мужу в работе. Лекции Дюринга всегда собирали обширную публику. Его резкий язык и оригинальный для немцев образ мыслей всегда после лекции вызывали оживленный обмен мыслей. Дюринг называл себя социалистом, но был ярым противником профессорского социализма и подсмеивался над социал-демократами. Обо всем этом я уже знал от лиц, знакомых со взглядами лектора.

Публика собралась на лекцию, а лектор еще не являлся. Собравшиеся начали уже скучать и сетовать на неаккуратность лектора. Наконец, Дюринг явился; его вел за руку его маленький сын. Он ввел лектора на кафедру и уселся на ее ступеньках.

Оратор начал с резкой критики современного общества. По его мнению, современный строй представляет собой не организованное общество, а целый ряд представителей различных групп, относящихся враждебно друг к другу. Сделав это вве-

дение, он остановился на семье и без церемонии начал казнить ее. Вот перед вами богатая семья, ее ставят в образец другим, а вместе с тем жена и мать в доме главным образом занята кухней, а дети на руках бонны. Муж содержит любовниц, но это еще не беда. Он развлекает себя уличным развратом. Социал-демократы, считающие себя реформаторами общества, живут в своей семье так же, как и всякий буржуа. Чем же можно спасти наше общество от такого одичания? Единственным спасением против этих социальных зол может быть прежде всего уравнение прав обоих полов. Нужно уничтожить рабство в семье, уравнять права матери и отца и открыть первой доступ к общественной деятельности. Если бы этого можно было достигнуть, то наше общество могло бы облагородить нашу жизнь. Многие, может быть, подумают, что я — сторонник свободных отношений между полами или каких-нибудь других форм коммунального брака. Многие мыслители, начиная с Платона, поддерживали эту идею. Она и теперь имеет своих сторонников, но я не из их числа. Называйте меня ретроградом, филистером, но я стою за индивидуальный брак.

Аудитория была подходящая, и лекция вызвала в собрании дружные аплодисменты. Когда заседание кончилось, я подошел с одним русским студентом к лектору, и мы попросили его дозволить побеседовать с ним.

— Очень рад, я принимаю от 2-х до 4-х часов,— ответил Дюринг.

На другой день профессор принял нас. Мы сообщили ему, что его взгляд на положение жен-

щины разделяют большинство образованных людей в России. Он ответил, что это вполне естественно, и наша культура молодая не обязана считаться со старыми культурными преданиями, которые мешают свободному развитию общественных отношений. Взгляните на социал-демократию, на этих деятелей, которые ставят своей задачей реформы в общественных отношениях, а между тем вне своей политической деятельности живут так же, как любой филистер.

Простившись с Дюрингом, мы бросились разыскивать по библиотекам его сочинения. Одно время, впрочем, можно было встретить сочинения Дюринга только в Берлине, в руках немногих русских студентов. Но те, которые дали себе труд прочесть экономические произведения автора, сразу разочаровались в нем. Мы уже были знакомы с Марксом и Лассалем. При этих пособиях нам легко было разобраться в трудах Дюринга, представлявших собою компиляции человека с большой эрудицией, в которых и сам автор не смог ориентироваться. Мы, русские, признавали за Дюрингом ту заслугу, что он поставил на очередь женский вопрос; но тогда уже о нем в Германии заговорила и женщина. Один немецкий профессор, — забыл уже его фамилию, — выпустил брошюрку против стремления женщин к образованию и самостоятельности. В защиту эмансипации женщин выступила одна почтенная особа, фрау Гедвиг Дом. В своей брошюрке она спокойным тоном ответила профессору, что он, должно быть, не видал серьезно образованных женщин, и настаивала на том, что чем образованнее мать, тем ей легче

воспитывать своих детей; затем она сослалась на акушерок и указывала, что женщины так же хворают, как и мужчины. Почему же женщины должны непременно лечиться у мужчин? Она сослалась на русских женщин, которые настолько счастливы, что могут лечиться у женщин. Вы, мужчины, не понимаете, как трудно женщине открывать свою интимную жизнь перед мужчиной. Кажется, эта брошюрка была переведена на русский язык; но для русских все это было уже дело решеное. В Германии же и теперь о стремлении женщин к высшему образованию мало слышно.

Наступила весна. От урока с немцем у меня осталось несколько денег; кроме того я недавно получил деньги из России за статейку в газете и решил перебраться в Париж. Там было у меня несколько знакомых и между ними издатель журнала *Знание* Гольдшмидт, у которого я надеялся найти работу.

Я простился со своей квартирной хозяйкой на Elsasser-Strasse № 17, тронулся на Запад и через полтора суток попал в Париж.

В Париж я приехал в самое глухое время макмагоновщины. Выплыл на сцену вопрос о септеннате, вылезли на сцену реакционные партии. Кроме того наступало лето, и общественная жизнь замирала. Несмотря на все, это Париж произвел на меня оживляющее впечатление. Собираясь в Париж, я думал, что после прусского и версальского нашествий, я встречу там уныние, озлобление, траур, а встретил картину оживленного мирового города, какого я еще не встречал. Казалось, что ужасы войны и усмирения коммуны отошли в да-

лекое прошлое. О них никто не говорил в Париже. О судьбе коммунаров гораздо больше говорили в Берлине, Лейпциге и других городах Германии, где существовали крупные отделы социал-демократической партии. Там справляли поминки по коммуне, а в Париже опасно было об этом разговаривать, да и не с кем было: корифеи коммуны были перебиты или отправлены в Новую Каледонию, а оставшиеся на свободе перебрались кто в Женеву, кто в Брюссель, а некоторые и в Лондон. Самая влиятельная часть населения Парижа,—мелкая буржуазия, — радовалась восстановлению порядка.

Осмотревшись в Париже, я пришел к тому заключению, что в нем кроме печального настоящего имеется славное прошлое. Я бегал по музеям, осматривал памятники прошлого и, чтобы не забыть математику, стал слушать в Сорбонне лекции Бертрана и Жамена. Источниками моего существования были переводы и статьи, которые печатались в русских журналах, и я уже подумывал остаться в Париже на более продолжительное время, чем рассчитывал, но неожиданное событие сразу переменило все мои проекты. Раз как-то утром я сидел у себя в мансарде на Rue Bertolet и кропал какую-то статью, как вдруг двое знакомых явились ко мне с газетой в руке и заявили, что у них есть интересная новость, и передали мне газету, где было отчеркнуто полстолбца красным карандашем. Взяв газету, я узнал из нее, что в Боснии и Герцеговине началось восстание. В газете было указано, что восстание было вызвано притеснениями турок.

— Какое же это имеет отношение к нам?— спросил я.

— Как какое? Угнетенный народ поднимается против варваров! Вместо того, чтобы писать статейки, лучше принять участие в борьбе за свободу,—ответили мне приятели.

— Прежде, чем браться за дело, следовало бы подробнее узнать о нем. Здесь очень мало будут интересоваться этим инцидентом. Я думаю, что в Москве или Петербурге можно гораздо больше узнать об этом восстании, чем в Париже,—сказал я.

— Все равно мы отправимся на место действия, ты же поезжай в Россию, а из Герцеговины мы тебе напишем.

Я так и сделал.

VII. Добровольческое движение.

Приехав в Петербург, я навел справки, но оказалось, что в оффициальных сферах относились к этому явлению безразлично, а пресса разделилась на два лагеря. „Голос“ Краевского отнесся к герцеговинскому восстанию крайне сдержанно, даже отрицательно, зато Суворин, приобретая газету „Новое Время“, громко проповедывал, что Россия должна принять активное участие в славянском восстании. Даже „Отечественные Записки“ поместили у себя горячую статью Мордовцева, звавшую на помощь страдающим единоплеменникам. Принял участие в этом деле и славянский благотворительный комитет. Ежедневно собирались целые толпы около помещения славянского благотвори-

тельного общества, ожидая очереди записаться в добровольцы. Толпа эта была крайне пестра. Были военные по призванию, которые желали понюхать пороху; были люди, искренно сочувствовавшие славянам, а больше всего было таких, которые не знали, куда бы пристроить себя. Являлись в благотворительный комитет молодцы, которые просили записать их в добровольцы за царя-батюшку против Сербии на войну идти с генералом Черняевым. Петербург страшно шумел; некоторые, как, например, покойный адвокат Ольхин, бегали по городу с газетами в руках и читали на улицах и на площадях телеграммы с театра войны; барыни шили хоругви для волонтеров; ежедневно отправлялись с Варшавского вокзала партіи охотников с пением: „Спаси, господи, люди твоя".

Не имея никаких сведений из Герцеговины, я решил проехаться по России и посмотреть, как относится к волонтерскому походу провинция. Проехав через Москву, Нижний и Казань, я всюду слышал о сборах в добровольцы. Но когда я добрался до уральских заводов, стремление идти на войну сразу упало. Там в это время была своя забота, были хлопоты о земле, сопровождавшиеся тюремным заключением, ссылками и новыми хлопотами. Но когда, прожив месяц на Урале, я возвращался в Петербург, то на пароходе и на железной дороге я только и слышал, что нельзя оставить славян на с'едение туркам. За месяц моего пребывания на Урале добровольческое движение сильно разрослось. Правительство может думать, как угодно, но народ сам идет на защиту христиан. Мы считаем славян турецких своими

братьями и пойдем защищать их. И чем ближе подъезжал я к Москве и Петербургу, тем яснее становилось, что правительство наше относится далеко не безразлично к этому движению. В добровольцы шли офицеры и генералы, видные люди, и, наконец, оффициально признанное учреждение—славянский благотворительный комитет—набирал волонтеров. Из этого ясно видно было, что правительство дожидается только благоприятного момента для того, чтобы вступиться открыто за славян. Приехав в Петербург, я немедленно записался в партию полковника Фалецкого и вслед за ним, со следующей партией, отправился воевать с турками.

Нашу партию, как и все прочие, проводили молебном, и мы, напутствуемые криками „ура", тронулись в путь.

Партия была пестрая и подгулявшая, так что с первого раза ее пришлось усмирять. В нашем вагоне были две сестры милосердия и они страшно страдали от крика и солдатской ругани, так что я должен был обратиться к провожавшему партию офицеру Ободовскому, чтобы он перевел женщин в какой-нибудь более спокойный вагон. Офицер оказал любезность и перевел сестер в свой вагон. После того, как от нас удалили женщин, поднялся непроходимый содом, закончившийся дракой. На остановках двое каких-то приказчиков-добровольцев из окошка переругивались с публикой.

— Эй, ты, чорт, трус проклятый, что не едешь на войну против неверных?

— Прошу не ругаться с публикой,—заметил жандарм.

— А ты что тут на платформе шатаешься, синяя шкура? Ступай на войну!

— Поезжайте сами, а я за службой не могу.

— А я вот могу! Приеду в Сербию, сейчас же сожру живым первого турка вместе с шароварами...

— Ну, брат, съешь ли ты турка с шароварами,—дело темное, а что с тебя спустят штаны за твое неприличное поведение и выпорют, так это верно,—заметил, проходя мимо, наш обер-кондуктор.

— Ай, да кондуктор, молодец! Браво! Ловко отбрил мальчишку!

И весь вагон расхохотался.

С этих пор всю дорогу травили этого приказчика.

Чуть он вмешается в разговор, сейчас же кто-нибудь обратится к нему с вопросом:

— А что, приказчик, скоро с тебя штаны снимать будут?

Эти разговоры доводили мальчугана до слез, и он в Белграде отстал от нашей партии, да и все мы разошлись в разные стороны.

Переночевав в Варшаве, мы перебрались утром через границу и на другой день, около полудня, приехали в Пешт. Нам сказали, что пароход придет в 6 часов вечера, и нам не будет надобности искать себе пристанища. Наша компания, одетая в серые шинели с башлыками, привлекала целую кучу любопытных, которые пробовали заговаривать с партией. Нашлось несколько русинов в публике, а в партии было двое малороссов, и разговор мало по малу завязался.

— Что-ж это вы, отслужив срок, опять на службу, да еще прямо на войну?—спрашивали собеседники наших.—Неужели не надоело?

— Тут, братцы,—другое дело. Наших православных турки бьют. Это—все равно что на богомолье идти.

— И мы—православные, а все-таки мы не пойдем на турку. Он нам зла не делает. Наш цесарь живет мирно с султаном.

Пока солдаты болтали с русинами, ко мне подобрался прилично одетый господин и предложил мне свои услуги в качестве гида.

— Теперь уже скоро подойдет пароход. Теперь в город некогда. Я уж осмотрю вашу столицу на обратном пути, если останусь жив.

— Пароход придет не раньше, как через три часа, а за это время я успел бы вас познакомить со здешними женщинами.

— Не имею никакого желания.

— Напрасно, будете жалеть,—сказал гид-сводник и подошел к начальнику партии, очевидно, с такими же предложениями.

Наш начальник переговорил с двумя молодыми людьми, гид кликнул коляску, и вся компания ускакала в город.

— Ну, наши закутят теперь,—сказал один из добровольцев.—Как бы на пароход не опоздали.

И действительно, веселая компания вернулась почти-что к самому отходу парохода, немножко навеселе; и принялись рассказывать, как они весело провели время и что они обещали на обратном пути остаться в Пеште денька два—три, и при этом пускались в такие подробности, от которых,

как говорится, уши вянут. По счастию, в каюте было всего две дамы: одна оказалась итальянкой, а другая—венгеркой, и ни та, ни другая, очевидно, ничего не поняли из разговора гуляк.

Я вышел на палубу, чтобы посмотреть, как устроились наши товарищи. Собравшись в кучу, они толковали о господах в нашей партии!

— Эх уж эти господа! Собираются биться за веру, за братьев! Чем бы богу молиться, а они... Да бог с ними, впрочем! Приедем в Белград, там их в порядок приведут.

— А вы, господин, как же? По своей охоте едете или по службе? - спросил меня один из группы добровольцев.

— Нет, я по своему желанию.

— Страшно будет ведь на войне-то, особенно спервоначалу. Вы бывали на войне?

— Нет, в первый раз пробую.

— Ну, что-ж, около нас попривыкнете; если вместе будем служить, мы вас не выдадим.

— Спасибо, братцы,—сказал я.

— Оно, конечно, война страшна, но ведь не всех же убивают в сражениях. Если десятая часть выйдет из строя, так это уже много,—одобрил меня один из солдат партии.

— Надо сказать: всяко бывает, - сказал другой.

Много еще кое о чем говорили добровольцы, но я заметил, что со вступления на пароход наша компания, кроме наших гуляк, стала держать себя сдержаннее. Видимо все стали понимать серьезность своего положения и меньше начали говорить о войне,—ясно было, что возврата уже нет. Налита чаша до краев, и ее надо выпить. Кроме

того за два дня пути все порядком утомились, и на свежем воздухе воинов наших стало клонить ко сну. Я пошатался по палубе парохода, любуясь широким Дунаем, освещенным полной луной, попробовал вспомнить прошлое этой реки,—скифов, гуннов, византийцев, готов, и нашествие османов, и наши кровавые войны с Турцией,—и, признаться сказать, порядочно устал, сдавая исторический экзамен самому себе. Меня одолела дремота, я спустился в каюту, лег на койку и заснул. Я сладко спал еще, когда меня разбудили крики:

— Белград видно, Белград видно!

Я поскорее оправился и выбежал на палубу. Впереди, на крутом берегу, стоял залитый солнцем Белград. Наша партия пела: „Спаси, господи, люди твоя",—и мы с пением пристали к пристани. Здесь нас встретил какой-то господин, и мы под его предводительством поднялись по крутой и высокой лестнице в город, где он устроил нас в одной дешевенькой гостинице. Он поговорил с нами о текущих событиях и напоследок сказал нам, что в Белграде живут не так, как в Петербурге:

— У вас спят днем, а у нас ночью. У вас жизнь столичная, а у нас деревенская. У нас в десять часов спят, а у вас отправляются в гости. По ночам с песнями у нас не ходят.

Я ответил, что и у нас делают это не все, а если и бывают скандалы, то их прекращает полиция.

— У вас это так, у вас много полиции, у нас же полиция маленькая—нам трудно справляться с целыми партиями вооруженных людей.

— Ведь здесь военные. Они обязаны носить с собой оружие всегда,—заметил я.

— Совершенно верно, но многие из волонтеров полагают, что для них не обязательна дисциплина,— заметил наш путеводитель.

— Извините меня, зачем же вы держите наших добровольцев в Белграде? Почему вы не отправляете на позиции?—спросил я.

— Не умею вам сказать; одни говорят, что нет телег для отправки военных снарядов; другие говорят, что трудно выпроводить добровольцев из Белграда. Я бы думал, что вы, как мне кажется, человек серьезный, могли бы повлиять в случае надобности на более молодых своих товарищей— предложил мне наш ментор.

— Вряд ли мне придется здесь играть начальника. Я постараюсь поскорее отправиться на позиции.

— Это было бы хорошо, но теперь, надобно признаться, у нас мало порядка. Впрочем, посмотрите, сами увидите, и если вам что-нибудь понадобиться, я всегда к вашим услугам. Кстати, позвольте мне порекомендовать вам эту гостиницу. Кормят хорошо и недорого.

Я поблагодарил нашего путеводителя, а он мне вторично заявил, что готов всегда дать нам нужные указания, и ушел.

— Ну, что же,—сказал я,—пойдемте в ресторан: время обедать.

Я вошел в ресторан и отыскивал глазами местечко, где бы присесть.

— Что же, Дмитрий Александрович, и вы приехали сюда за веру, за братьев кровь проливать? Идите сюда; около меня есть местечко.

Я сразу узнал Глеба Ивановича Успенского и направился к нему.

— Вот, вот, тут есть местечко. Очень рад, что встретились.

Я заказал обед и спросил Успенского, как он себя чувствует в Белграде.

— Как вам сказать? Неразбериха какая-то. Я еще дорогой расспрашивал волонтеров, с какой целью они едут на войну. И что же вы думаете? Один говорит, что неудачно женился, другой пострадал на службе, третий... Да всех и не перечтешь. Вижу только, что здесь целые кучи народа нашего шатаются без дела.

— Не забывайте, Глеб Иванович, что мы в тылу армии, а там всегда любят тереться люди самых разных сортов.

— Да, да. Я еще вчера встретил повара из одного петербургского ресторана, говорит: маркитантом буду. И, конечно, будет у какого-нибудь обжоры из провиантских чинов за веру, за братьев сербских кур да индеек фаршировать.

Мы оба расхохотались.

— А вот эти знают, зачем сюда приехали,— сказал Глеб Иванович, кивнув головой в сторону, где сидела группа разряженных дам.—Но и эти, вероятно, ничего не добьются. Здесь женская прислуга в гостиницах служит за нищенское жалованье,—добавил Успенский.

Только что мы успели пообедать, как вдруг раздались крики: „Держи, держи вора!"

В ресторан, как бомба, влетел какой-то субъект с криком: „Заступитесь, земляки, сербы обижают!"

— Как! Русских обижают! Мы за веру, за братьев! К оружию!—раздались крики по ресторану.

— Чекайте, чекайте! (подождите, подождите),—

закричал не своим голосом серб, приказчик табачного магазина.—У меня вот этот доброволец украл две пачки дувану (табаку).

— Как! Доброволец—и вор! Изрубим его! Бей его, как собаку!

Магазинного приказчика и похитителя окружила сразу вооруженная толпа. Первый увидел, что у добровольца торчат из кармана пачки табаку и коробки с папиросами, и принялся опрастывать карманы похитителя, совершенно забыв, что он окружен разъяренной толпой.

Торопливость приказчика была настолько комична, что вся толпа разразилась гомерическим смехом. Я в первый раз в жизни увидел, как быстро может изменяться настроение сильно возбужденной толпы.

Видя, что настроение толпы изменилось, хозяин ресторана подошел к толпе и тут же предложил компании обязать вора не позднее завтрашнего утра удалиться из Белграда. Воришка замялся.

— Делать нечего, господа,—решил один из русских офицеров,—соберемте денег ему на дорогу и поручим полицейскому посадить провинившегося на пароход.

Несмотря на прилив добровольцев, дела Сербии день ото дня становились хуже; турки, конечно, были сильнее сербской армии вместе с добровольцами. Ясно было, что новыми добровольцами дела не поправишь.

Среди военных начала бродить мысль, что надобно оставить позиции на границе и стянуть все войска к Белграду.

Совсем другую картину представляла собой Черногория. Она стойко защищалась и с севера, и с юга и кроме того сумела привлечь на свою сторону воинственных мерндитов. Меня давно уже интересовала Черногория и ее геройский народ, сумевший отстоять свою свободу среди враждебных племен.

Раз как-то мы с Глебом Ивановичем и инженером Грачевым сидели за ужином в сербской круне и толковали о том, почему это так мало охотников ехать в Черногорию и так много едет их в Сербию. К нам подсел какой-то доброволец, несколько подвыпивший, и заявил, что за коим чортом будет он ломать шею по горам, а Белград— все-таки губернский город, и местность удобнее, и кругом свои, а там, говорят, не город, а деревня какая-то. Придется таскать на себе и ранец, и одежду. „Я привык к порядкам регулярной армии, я—офицер, а там, пожалуй, в рядовые попадешь“.

— Вы совершенно правы, господин офицер. А я решил перебраться в Черногорию вместе со своим товарищем,—сказал Грачев, указав на меня.

— Ну, это дело ваше, а я уж останусь здесь,— заявил непрошенный собеседник и отошел от нашего стола.

— Что же, господа, чем терять время здесь, поезжайте к князю Николаю; по крайней мере на новых людей посмотрите,—посоветовал Глеб Иванович.

Мы последовали этому совету и на другой день вечером сели на пароход, а через сутки были в Загребе.

VIII. В Черногории.

В Загребе мы встретились со студентом-черногорцем из Вены, ехавшим к себе домой. Юноша оказался очень милым и симпатичным, горячим славянским патриотом; увлекшись разговором с нами, он начал бранить турок, порицать австрийскую политику и в подкрепление своих мыслей стал читать „Новое Время". Эти разговоры и чтение газеты сильно не понравились нашей публике. Один какой-то толстяк подошел к черногорцу и заявил, что если он не перестанет вести неуместные разговоры, то будет немедленно арестован. Черногорец попробовал протестовать, но мы с Грачевым сказали полицейскому, что он не имеет права взять нас за чтение газет. Немецкий язык наш успокоил расходившегося соглядатая, и мы спокойно добрались к утру до Триеста. Наш черногорец, хорошо знавший город, отыскал нам дешевенькую гостиницу на набережной, как раз против пароходной пристани, и мы вместе с ним зашли к черногорскому консулу. Он нас любезно принял и угостил кофе, а потом повел нас в склад оружия, которое отправлялось завтра в Коттаро. Все видели и все знали, что все это готовится для войны, но никто на это не обращал внимания.

День был чудный, солнце грело горячо, и я здесь в первый раз увидал своими глазами, что такое лазурное море и южное небо во всей его красе. В заливе гулял свежий ветерок,—на волнах появлялась белая пена, и она еще больше отте-

няла густой цвет воды моря. Вздумали было мы прокатиться и посмотреть на замок Мирамаре, но ветер был противный, и нам сказали, что теперь замок осматривать нельзя, а завтра мы его увидим с парохода.

Вечером мы забрались в таверну, заказали бутылку мараскина и ужин. Посетители были по большей части славяне, и сам собой завязался разговор о политике.

— Как жаль, что в Сербии так плохо идет дело,—начал беседу наш спутник черногорец.

— Это и естественно. Крошечная Сербия и Болгария со своим пестрым населением как же могут бороться против Турции с населением в 35 миллионов,—сказал я.

— Кривашеи—тоже маленькое племя, а однако же они добились от Австрии своей автономии,—вставил слово один из собеседников.

— Хотя здесь двое русских, и я уважаю Черняева и других полководцев, но нам вот кого недостает,—сказал, встав с места, старый хорват и указал на портрет Гарибальди.

— Вот чего захотел! Был на свете великий Гарибальди, а другого не будет. Такие люди два раза на свет не рождаются. Я был в Генуе, когда он высадился со своими молодцами.

— Живио Гарибальди и юнаки его! Выпьем за его великие подвиги!—крикнула вся таверна.

Хозяйка, стоявшая все время около очага, подошла к нам и попросила сидеть потише, иначе появится полиция, и ее заставят платить большой штраф.

— Ну, а если так, пойдемте в другую гости-

ницу, мы и там найдем такой же портрет Гарибальди и, может, хозяйку подобрее.

— А вы, синьоры, вместо того, чтобы обижать бедную женщину, дали бы мне гульдена три, я бы и устроила все.

— Что же ты раньше этого не сказала! На, возьми!

Мы перекочевали в другую таверну, где преобладал среди посетителей итальянский элемент. Здесь уже пили не мараскин, а красное вино. Наши славяне отрекомендовали нас добровольцами, отправляющимися в Черногорию. Итальянцы крепко пожали нам руки и попробовали завести разговор с нами на своем языке, но из нас один только студент-черногорец из Вены знал этот язык. Разговор через толмача задерживал беседу, к тому же мы еще не отдохнули от дороги и были уже под хмельком, а завтра пароход уходил рано.

Чтобы не опоздать к пароходу, мы явились на пристань очень рано, но мелкие лавочки были уже открыты, и мы на всякий случай, по совету нашего черногорца, запаслись провизией, спустились в каюту и завалились спать, но нас разбудил какой-то матрос и потребовал билеты.

— Где ваши билеты? Здесь нельзя без билетов,—грубо заявил вошедший.

— Знаем и без тебя. Мог и потом зайти, — ответил за нас наш черногорец.

— Предъявите билеты, а потом спите хоть до Александрии.

— Ну, вот тебе и билеты!

Вопрошающий повертел в руках билеты и вышел.

Нельзя сказать, чтобы пароходы австрийского Ллойда отличались большими удобствами. Каюта была тесная, с низким потолком, и на койках белье было не первой свежести, и мы с трудом разыскали умывальник и потребовали себе кофе. Его пришлось ждать долго, и мы вышли на палубу посмотреть на море и на замок Mira-mare.

Мы стояли на палубе и болтали между собой. Недалеко от нас стоял какой-то молодой человек. Видимо, он хотел заговорить с нами, но подойти к нам не решался.

— Вы, должно быть, русский?—спросил я его.

— Точно так-с, еду с генералом Бухом в Сербию.

— В Сербию!?

— Да, так точно-с!

— Извините, вы едете в Черногорию.

— Это мне все равно, я в услужении у генерала: куда повезут, туда и поеду.

Из каюты I-го класса вышел высокий седой старик и крикнул:

— Федор, вели мне подать завтрак!

— Извините,—сказал черногорец,—ваш Федор не сумеет передать вашего приказания; позвольте мне передать его.

— Сделайте одолжение! Вы кто будете?

— Студент-черногорец из Вены; еду к себе домой.

— А я—уполномоченный Красного Креста, действительный статский советник Бух; я тоже еду в Цетинье.

— И мы тоже. Значит, завтра будем в Коттаро.

Наш пароход заходил чуть ли не в каждую деревушку на Далматинском берегу и постепенно переполнялся пассажирами, но это все были люди путешествующие по своим делам, чуждым всякой политике. Только когда мы приехали в Рагузу и Спалатро, стали попадаться люди, побывавшие на войне. Некоторые осуждали полковника Депрерадовича за то, что он засел в Боснии и не трогается с места. Другие утверждали, что одному Депрерадовичу нельзя выступить против турок.

— Вот если бы черногорцы добрались до Мостара, тогда и Депрерадович перешел бы в наступление.

Проехали мы еще две станции, явились новые люди с войны и рассказали, что вот за этими горами вчера Пеко-Павлович прогнал турок и в битве было посечено тридцать человек турок.

— Живио юнаци соколови! Живио Церна Гора и честной крест!—прокатилось от носа до кормы по пароходу.

Надобно сказать, что команда на ллойдских пароходах была на стороне славян. Капитан передал команду помощнику, а сам спустился с мостика и начал расспрашивать о ходе последней битвы.

На нас эта встреча произвела сильное впечатление. Высокорослые, стройные, закоптевшие от пороха, кое-где со следами крови на одежде, исхудавшие от трудов, но бодрые, они напоминали нам те времена, когда люди выходили на войну только затем, чтобы показать свою удаль.

Юнаки видели, что они служат предметом общего внимания, но держались крайне сдержанно и с достоинством. Ни похвальбы, ни желания показать себя незаметно было в этих закаленных воинах. Они охотно отвечали на вопросы, но деловито, без прикрас, без волнения. Если бы мы не знали, что эти люди явились к нам с поля битвы при полном вооружении, то мы приняли бы их за партию рабочих, окончивших свое дело и отправляющихся к себе домой.

Наш черногорец познакомил нас со своими соотечественниками, а затем мы предложили всем выпить ракии. Тут же, на палубе, нам принесли графинчики, мы уселись и выпили по два стаканчика за успех войны и за все славянство, начиная с великой России и до маленькой Черногории, и так просидели до сумерек. Воины, очевидно, уставшие, стали укладываться на покой, завернулись в свои струки (пледы), перекинулись несколькими фразами между собой и заснули.

Мы тоже спустились к себе в каюту, но уснуть скоро нам не удалось. Мы долго говорили о том, как мы устроимся в походе, как сойдемся с черногорцами, и, наконец, полегли, но не спалось нам,—мы все болтали о битве Пеко-Павловича и об его юнаках, спавших на палубе. Угомонил нас опять-таки венский студент.

— Смотрите, господа, не проспите вход в Коттаро: не увидите лучшей в свете панорамы, жалеть будете. Помните: при входе в Коттарский залив будет дан продолжительный свисток.

Мы задали нашему путеводителю два-три вопроса и заснули. Утром мы успели выбежать на

палубу, когда пароход еще не вошел в пролив, и перед нами стояли те же серые, голые утесы, спускающиеся к морю; но вот прошло несколько минут, пароход дал свисток, и перед нами открылось широкое озеро, окруженное горами, сплошь покрытыми зеленью, а над ними поднимались угрюмые утесы Черногории. Пока мы подвигались вперед, перед нами то справа, то слева открывались уютные бухточки, по берегам которых были разбросаны группы поселков. Вода была как зеркало, и вся великолепная панорама отражалась в воде. Казалось, что не пароход движется к берегу, а все зеленые берега бежали нам навстречу, высокие же сопки Черногории, казалось, вот-вот обрушатся в море и затопят наш пароход и зеленые берега залива, купающиеся в море. Мы подошли к Коттаро, и нас встретила густая толпа на пристани. Как оказалось потом, о прибытии уполномоченного Красного Креста дана была телеграмма из Триеста. Уполномоченного встретил нарочито посланный из Цетинье, а нас, благодаря опять-таки нашему студенту, окружила толпа молодежи и, не дав нам вздохнуть, потащила в гостиницу и принялась угощать.

— Погодите, господа, нам надобно кое-чем запастись,—упрашивали мы наших хозяев.

— Нужды нет, мы все вам достанем, а вы расскажите, как идут дела в Белграде.

Мы сообщили, что там положение трудное: добровольцы прибывают с каждым пароходом, но турки теснят сербов со всех сторон.

— А у нас, слава богу, опять отбили турок на Албанской границе.

Долго мы беседовали с новыми знакомыми, осмотрели весь городок, потом отыскали себе квартирку, отдохнули, запаслись местной обувью и потом зашли к уполномоченному спросить его, когда он отправляется в Цетинье, чтобы выступить вместе с ним, так как мы не знаем дороги.

— Я десять гульденов могу дать,—вдруг метнул наш генерал.

— Гульдены, ваше превосходительство, оставьте у себя, нам нужно проводника, который указал бы нам дорогу.

— Что-ж, идите!

Мы откланялись и вышли.

— Вы в Цетинье собираетесь? — спросил нас один из новых знакомых.

— Да, но мы дороги не знаем.

— Ничего, дорога тут одна; я с товарищем тоже иду в Цетинье, я догоню вас на пути.

— Где же дорога-то?

— А вот,—и указал нам на вьющуюся полоску, которая крутилась по горам.

— Пойдем, — сказал Грачев, авось не заблудимся!

— Не успеете, мы догоним вас, да и дорога-то здесь одна; будут попадаться тропинки, но вы не смотрите на них,—сказали черногорцы.

Мы распростились с ними и пошли вверх. Нас сильно пугали трудностями пути, но здоровые молодые ноги и горный свежий воздух ободрили нас. Нам хотелось поскорее добраться до избушки, стоящей на перевале, где, как нам говорили, можно было напиться кофе и закусить черногорским серым хлебом.

Мы уже были под самым перевалом, когда послышались сзади нас голоса, кричавшие:

— Чекайте, чекайте, руссы! (Постойте, постойте, русские!)

Мы присели на камень около ручья, и через несколько минут к нам подошли черногорцы, обещавшие нас догнать, и присели с нами.

— Скоро же вы догнали нас,—сказал Грачев.

— Мы шли малыми тропами, а теперь посидим и ракии (водки) выпьем.

— Где же наш уполномоченный?—спросил я.

— Ого, он еще раньше вас уехал на конях, должно быть уже около Цетинье.

— Ну, вряд ли,—должно быть, лежит в избе на перевале.

Так и вышло. Войдя в избу, мы нашли Буха сидевшим на скамейке с чашкой кофе в руках и бутылкой коньяку на столе.

— Как это вы нас догнали?—спросил уполномоченный.

— Пешком,—ответили мы.

— Не хотите ли, господа, кофе с коньяком?

— Мы уже устроились на дворе, там воздух чище.

Напившись кофе и закусив, мы тронулись в дорогу и к вечеру спустились в долину Цетинье.

Долго мы искали где-нибудь пристанища и, наконец, направились в „Биллиарду“, — так называлась единственная гостиница в Цетинье. Но в „Биллиарде“ остановиться было нельзя и, после кратких расспросов, мы нашли на ночь пристанище у фельдшера в госпитале. Фельдшер принял нас очень приветливо. Приютившись у него, мы стали

расспрашивать, есть ли здесь русские добровольцы. Оказалось, что были такие, но раньше, а теперь осталось только двое Анненских. Они оба уже были в битве у Подгорицы, а теперь ждут нового случая идти на войну. Мы попали как раз в такую пору, когда обе воюющие стороны находились в выжидательном положении. На другой день мы отправились к консулу Ионину; он нас принял очень любезно и даже не захотел посмотреть наших паспортов. Он горячо и искренно доказывал нам, что Россия должна поддерживать славян. О черногорцах он говорил с большим одушевлением: это—маленький, но мужественный народ.

— Как вы там себе ни говорите, а теперь вся Европа задумывается над славянским вопросом. Чем бы ни кончилась эта война, она все-таки — один из шагов к освобождению славянства.

Мы вышли, очарованные консулом, и решили подождать, покуда выяснится положение.

Мы прожили в Цетинье две недели, но о возобновлении военных действий не было и слуха. Наоборот, с границ Герцеговины вернулось несколько отрядов.

Я обратился к одному из русских корреспондентов и попросил объяснить, „что сие значит“.

— В Сербии дела идут плохо, очень плохо; и консул, и князь говорили мне, что на обоих театрах войны установлено перемирие на шесть недель.

— Вот так штука, чорт ее побери! Значит, теперь пора оглобли поворачивать,—сказал Грачев.

— Погодите, консул созовет всю русскую ко-

лонию вечером и расскажет, в чем дело, — сказал корреспондент.

— Однако, знаете, дело как-то неладно. Отчего нам не дали знать об этом? Я — тоже корреспондент, — сказал я.

— Вы ничего не потеряете, если подождете до вечера.

— Ну, а если уж так, то мы пойдем пожитки свои укладывать и после обеда тронемся в Коттаро.

— Пожалуйста не делайте этого, вы обидите консула, нельзя же вам не попрощаться с ним, — уговаривал нас корреспондент.

— Во всяком случае мы будем ждать приглашения.

— Разумеется. Если я раньше вас узнал эту новость, то из этого еще не следует, что консул не пригласит вас.

— Вот увидим,—сказали мы, отправившись на квартиру, и принялись укладывать наш несложный багаж.

Среди таких занятий, мы увидели слугу Ионина; он вышел к нам и передал письменное приглашение „пожаловать на вечер по случаю радостного события — шестинедельной приостановки военных действий“.

На вечере и консул, и русский военный уполномоченный, полковник Боголюбов, были особенно внимательны к нам. Просидели мы довольно долго, пили за здоровье консула, пели русские песни и разошлись за полночь. Утром мы поднялись раненько и тронулись в путь. На горах уже выпал снег, и холодный ветер заставил нас двигаться

насколько возможно скорее. Засветло мы спустились в Коттаро, а на другой день, рано утром, сели на пароход, который доставил нас в Триест. Здесь я распростился с Грачевым, и на прощание мы сказали друг другу, что, верно, нам не судьба быть воинами. Спутник мой уехал в Россию, а я через Венецию и Турин в Швейцарию.

IX. В Швейцарии.

Распростившись с Грачевым в Триесте, я сразу почувствовал себя одиноким. До отхода парохода в Венецию оставалось целых четыре часа, и я, не зная, куда употребить это время, зашел снова в одну из харчевен, где мы беседовали, отправляясь на войну. Я здесь встретил несколько человек, с которыми познакомился при приезде в первый раз в Триест. Меня начали расспрашивать, где я побывал, много ли там было русских. Затем принялись пить здравицы за Пеко-Павловича, за папа Богдана, за Черну-гору, за Россию, за русского царя и т. д.

Когда время подошло к отходу парохода, вся компания отправилась провожать меня. Проводы были теплые и радушные и вознаградили меня за разлуку с Грачевым.

Переезд из Триеста до Венеции прошел незаметно для меня. Я крепко заснул, и меня рано утром разбудил пароходный свисток, давший знать, что мы приехали в Венецию.

К пароходу подплыли характерные венецианские гондолы, и на них посыпались пассажиры. На пароходе заметили на мне черногорскую шапку

(кепицу) и принялись расспрашивать, как идут дела на поле брани. Спрашивали больше всего на итальянском языке, которого я не знал, но тотчас разыскали славянина и через толмача выспросили у меня все новости, так что я из последних сошел с парохода. У меня было с собой оружие, но на него таможенные не обратили внимания. Наконец, я сошел на берег, думая здесь остаться дня на два, но, рассчитав, что будет стоить проживание в течение двух дней в Венеции, решил в тот же день отправиться дальше.

На берег высадили нас на самом интересном месте. С одной стороны перед нами был собор св. Марка, напротив него площадь св. Марка и тут же недалеко—палаццо дожей.

В соборе шла ранняя обедня, и я зашел сначала в него. Насмотревшись досыта на это дивное создание, я почувствовал необходимость в другой пище. Купил себе у торговки маленьких, но вкусных рачков, потом печеных каштанов, присел в уголке на площади и принялся завтракать. Я не торопился с едой и, оглядывая кругом площадь, решил, что это не площадь, а зало, и что для таких гармонических построек достойным прикрытием может служить только чудное небо Адриатики. Пересчитав свои капиталы, я решил, что могу себе доставить роскошь и прокатиться по каналам Венеции; это было мне и по пути к железнодорожному вокзалу. Странное впечатление произвела на меня эта прогулка, да, вероятно, и не на одного меня. Город громадный, но в нем нет того шума и той беспрерывной массы звуков, которые неизбежны при большом скоплении людей.

Только всплески весел лодок дают знать, что и здесь есть какая-то земноводная жизнь.

Двое гондольеров подвигали нашу лодку и называли разные достопримечательности: „Джиудека, синьоре!“ Риальто, синьоре! Канало гранде, синьоре!“ и т. д. Наконец гондольер крикнул: „Страда феррата! Буона виаджио, синьоре!“

Я расплатился с лодочниками, вышел из лодки и, обратившись к гондольерам, крикнул им: „А риведерчи, синьоры!“ Лодочники махнули мне шляпами и поплыли назад; я долго с сожалением смотрел за удаляющейся гондолой. Я ведь все-таки почти ничего не видел в Венеции и не рассчитывал когда-нибудь попасть туда. В чем-же оригинальность этого земноводного города? Я сравнивал Венецию с другими приморскими городами, но ни один из них не напомнил мне ее. Среди этих размышлений я заметил, как к одному дому подъехала гондола с какими-то припасами. „Падрони, ио кви!“ (хозяйка, я здесь),—крикнули из лодки. Отворилось окно, показалась женщина с веревкой и бросила конец в лодку; корзинки с припасами были привязаны к веревке, их подняли вверх, и женщина,—должно быть падрони,—втащила корзины через окно.

Да ведь это свайный поселок, поднявшийся пышно и горделиво из топей болот! Венеция сродни нашему Питеру! Но какая разница! У Петербурга одна только Нева, а здесь Адриатическое море, благорастворенный климат, масса перлов самобытного искусства, у нас же—серое небо, дожди и слякоть.

Из Венеции я решил ехать по Северной Ита-

лии кратчайшим путем на Турин. Я просидел сутки в плотно набитом вагоне сквернейшего устройства; но несмотря на то мы провели время довольно весело. Когда нас закупорили в вагоне, и поезд двинулся, один пассажир запел:

> Addio bel, addio!
> A la morte incontro ci va.

Когда кончилось пение, встал декламатор и продекламировал патриотическое стихотворение; затем какой-то артист начал насвистывать арии из опер.

В полдень на другой день мы приехали в Болонью и вечером попали в Турин. Я отправился за билетом в Женеву, но оказалось, что на остатки моих капиталов до Женевы не доедешь. Ко мне подвернулся какой-то подозрительный парень и предложил мне продать мой романовский полушубок, который я захватил с собой, рассчитывая на зимнюю кампанию в Черногории и Герцеговине.

За мой полушубок, при посредстве комиссионера, дали 35 лир, из которых пять я должен был заплатить за комиссию; но это не смущало меня. Я знал, что моих небольших денег мне хватит на дорогу до Женевы, а там примусь за переводы и буду писать в журнал „Знание“. Эти предположения выполнились однако в гораздо меньшей мере, чем я рассчитывал, но я при моей бродячей жизни привык соразмерять свои потребности с бюджетом. Приехав в Женеву, я встретился с моим знакомым Арбором, и он указал мне, как устроиться. В это время в Швейцарии появилось много интересных людей. После разгрома ком-

муны, очень многие вынуждены были эмигрировать в Швейцарию, Бельгию и Англию. Кроме французов, набралось много и русских эмигрантов, благодаря целому ряду политических процессов в России. Здесь я встретил Кропоткина, Черкезова, Ткачева, Драгоманова. Оба последние приехали с молодыми товарищами, которые, впрочем, являлись за границу временно и не считали себя эмигрантами. Вообще в эту пору между Россией и Швейцарией были довольно оживленные сношения. Всем казалось, что в России в непродолжительном времени начнутся капитальные реформы. Так думала новая эмиграция. Что-же касается эмигрантов более раннего периода, то они не верили этим надеждам. „Мы уже двадцать лет ждем не реформ, а хотя-бы амнистии; дали-бы хотя возможность умереть на родине“,—говорил частенько эмигрант 60-х годов Жуковский.

Другие, как, например, Эльпидин, просто-напросто решили натурализоваться.

Что касается французской эмиграции, то она была в гораздо лучшем положении. Французские эмигранты знали, что при новом демократическом правительстве их всех приведут в первобытное состояние, а русские, разумеется, на это не могли иметь никаких надежд. Большинство французов скоро сумели устроиться. Этого и нужно было ожидать. Такие люди, как Элизэ Реклю, Рошфор, Лефрансе, Артур Арну, Гамбон, Курбе, не могли остаться без куска хлеба. Кроме этих корифеев, в Швейцарию перекочевало значительное количество отличных ремесленников. Я потому выбрал Женеву, что уже знал, что там, неподалеку от

Женевы, проживали французские эмигранты. Об этих людях столько писали и говорили, что мне захотелось самому посмотреть на них. Устроившись с квартирой и другими хозяйственными делами, я начал хлопотать о работе и достал себе перевод не помню уже какой статьи в журнале „Знание“, а знакомство завелось само собой. Рядом с пансиончиком, где я жил, был ресторанчик „Café de l'Aurore“, куда большинство французов собиралось завтракать. Н. И. Жуковский, появившийся с семьей в Лозанне, приехал по каким-то делам в Женеву и также сделался постоянным посетителем „Аврорки“, как ее называли русские.

Как-то я зашел в „Аврорку“ завтракать и нашел там Жуковского, беседующего с каким-то французом. Это был человек среднего роста, брюнет, 50 летнего возраста, с проседью в волосах, с вдумчивыми черными глазами. Одет он был чистенько, но скромно.

— Дмитрий Александрович, идите к нам, будем вместе завтракать, — предложил Жуковский.—Это —Клеменц — русский, только-что вернувшийся с театра войны в Черногории, а это— Лефрансе, один из деятелей коммуны.

— Скорее только участник, — улыбнулся Лефрансе.

— Помилуйте, о вас столько писали в газетах и разных книгах о коммуне; вы там играли довольно видную роль.

— Да, о нас писали довольно много. Я и сам писал кое-что о коммуне; но это—не история третьей революции, а простое изложение событий, очевидцем и участником которых я был сам.

— Это он,—когда Трошю окончательно доказал свою полную неспособность воспользоваться энтузиазмом парижского населения — занял пятую мэрию и потребовал замены главнокомандующего,— сказал Жуковский, указывая на Лефрансе.

— Странно было думать, чтобы этот завзятый клерикал вдруг из ханжи превратился в демократического вождя республиканского Парижа,— с горькой насмешкой сказал Лефрансе и вышел.

С этого времени я частенько беседовал с Лефрансе в „Аврорке"; в праздничные дни мы часто гуляли в окрестностях Женевы. Разговоры эти были для меня настоящей книгой. Он переживал февральскую революцию, несколько раз должен был спасаться в эмиграцию, но как только являлась возможность, он снова возвращался в Париж и принимался за распространение республиканских и социалистических идей. Лефрансе был крупный клубный оратор и остроумный, находчивый полемист. Благодаря этим талантам, он нажил себе массу врагов среди реакционных и, главным образом, версальских сфер. Когда версальцы вступили в Париж, одним из первых вопросов был: „Где руководители федералистов, арестованы-ли они?" Насколько важное значение придавали Лефрансе, видно было уже из того, что арестовано было несколько Лефрансе в разных местностях Парижа, и эта травля продолжалась еще и тогда, когда в швейцарских газетах было заявлено, что Лефрансе в Женеве.

После моего отъезда в Россию, я снова встретился с ним во время всемирной парижской выставки. Я его встретил у русского картографа

Аптова, работающего у Гашета. Старик по прежнему был еще бодр, вел бухгалтерскую часть в газете „Aurore“, и Лефрансе заявил по этому случаю, что мы простились с ним в Авроре, и теперь снова меня встречает Аврора. Это было последней нашей встречей. Года два спустя я узнал у одного нашего знакомого, что Лефрансе умер.

Среди товарищей-эмигрантов Лефрансе пользовался большим уважением, но местные обыватели не интересовались им. Наибольшую сенсацию в Швейцарии вызвало появление Рошфора. За ним буквально бегали целыми толпами, подобно тому, как впоследствии женевцы бегали за Дрейфусом. Рошфор, попав в Женеву, сейчас-же соорудил газету „Droits de l'homme“, и она читалась нарасхват; но все помнившие его знаменитый Фонарь находили, что его статьи были гораздо слабее жгучих филиппик Фонаря. Кроме утомления от вынесенных невзгод и страданий у Рошфора не было уже такой благодарной мишени, какую представляли собой империя и двор Наполеона III. Да и вообще всякий француз-парижанин чувствует себя как-то неловко в провинции, не говоря уже о Швейцарии или Бельгии. Впрочем, я жил среди французов очень недолго, урывками, и не мог более или менее основательно изучить их образ жизни, их привычки, обычаи и взгляды на вещи. Да трудно было ознакомиться со средним французом, когда большинство эмигрантов были представителями самых разнообразных убеждений. Тут были и якобинцы, и бланкисты, и коммунисты, и коллективисты, и после-

дователи Бакунина. Среди этих представителей разных мнений резко выделялся знаменитый ученый Элизэ Реклю. Громадная эрудиция его, глубокое знание образа жизни всех народов давали ему возможность ориентироваться среди различных социальных теорий. Глядя вперед, он не думал, что современный общественный строй наш представляет собой последнее слово политической мудрости. Он, сторонник теории развития, твердо верил, что в будущем люди выработают более совершенные и более свободные формы общежития. Любя свою родину и своих соотечественников, он не признавал народов привилегированных. Все расы, по мнению Реклю, способны к развитию; все люди обладают членораздельной речью, умеют добывать огонь и выделывать себе орудия для охоты и для добывания себе пищи. Вся его громадная книга проникнута любовью к людям и твердой верой в дальнейшее развитие человечества: „В сущности, если мы не будем верить в развитие рода человеческого, то где же у нас надежда на будущее? Неужели только нынешние культурные племена должны населить землю от одного полюса до другого? Это предположение совершенно невозможное и даже нелепое. Огнеземельца несравненно легче выучить грамоте и ремеслам, чем акклиматизировать его под тропиками. У себя, в суровом климате, он будет в тысячу раз полезнее, чем в совершенно иной обстановке“. Так думал Элизэ Реклю.

Я вернулся в Женеву от Реклю совершенно очарованный и изложил в „Аврорке“ Жуковскому, Ралли и Лефрансе свои впечатления.

— Ну, как вам понравился Реклю?—спросил Лефрансе.

— Такие люди всем нравятся,—был мой ответ.

— Что же, вы еще погостите у нас?—спросил Ралли.

— Нет, с Женевой и ее окрестностями я уже достаточно знаком. Мне хочется пожить в Юрских горах, в районе часового производства.

— Другими словами,—в районе Юрской федерации, служащей опорой романского отдела международного союза рабочих,—пояснил Ралли,— а Берн забыли; ведь там теперь Поль Брусс работает и уже сколотил пять секций.

— Ну, и дай ему бог, а вы все-таки поезжайте в Юрские горы посмотреть, как там живут рабочие,—посоветовал Жуковский.

Мне дали несколько рекомендаций, и, кроме того, одному рабочему, по счастью, нужно было ехать домой в Шо-де-Фон. Нас познакомили, и мы решили отправиться на другой день вместе в Юрские горы. Рано утром я сел на поезд с моим попутчиком и перед вечером был уже на месте в маленьком городке Шо-де-Фон. Приискать здесь комнату не представило затруднений. Мы шли по улице, и мой спутник спрашивал чуть ли не каждого проходящего, нет ли где удобной комнаты для молодого, но скромного постояльца. Комнату довольно уютную мы разыскали при помощи расспросов; в комнате было все необходимое: постель, диван, три стула, два стола и лампа. На другой день мой спутник снова явился ко мне. Разложив свои пожитки, я уже без церемонии попросил товарища купить мне чернил, бумаги и разных дру-

гих мелочей, необходимых для человека, занимающегося писательством. Притащив весь этот хлам, мой приятель предложил мне пойти с ним в ресторан. Согласиться на это показалось мне уже злоупотреблением деликатностью мало знакомого человека, и я попробовал отказаться.

— Да я сам обедаю и ужинаю в этом ресторане, и вы, вероятно, настолько же проголодались, как и я.

Мы отправились ужинать в ресторан, а потом разошлись по домам. Утром я сел за работу, потом отправился погулять, пообедал, а вечерком ко мне опять зашел мой спутник и привел с собой товарища. Он, как оказалось, был одним из членов Юрской федерации. Благодаря ему у меня составился небольшой кружок знакомых, и мой образ жизни здесь скоро установился.

Утром—работа, затем обед, прогулка в горах, а вечером заходил кто-нибудь из новых приятелей побеседовать. Раз как-то, в воскресенье, я сидел за статьей о Черногории, когда ко мне зашел один из знакомых.

— Что это вы так рано, в неурочный час зашли?—спросил я.

— А знаете ли, вы товарищ, какой день у нас?—спросил гость.

— Какой день? Воскресенье!

— Плохо же вы знаете историю Невшательской республики! Сегодня — годовщина освобождения нашего кантона от пруссаков! Пойдемте в Hôtel de ville, там патриотические фразы будут сыпаться, как горох из мешка. Будет чего послушать.

— Что-ж, пойдемте, послушаем ваших ораторов.

Мы вошли в залу заседаний в ратушу, и мой спутник заметил, что если измерять патриотизм числом присутствующих, то за него дадут не много на базаре.

— Смотрите, вот выступает знаменитый оратор города Шо-де-Фон,—сказал мой сосед-зоил.

Оратор начал с того, что Невшательский кантон завоевал свою свободу собственными силами. Приверженцы прусской реакции заставили нас бороться с ней. Несмотря на эту борьбу, наш кантон не только не отстал от других, но во многих отношениях ушел дальше, чем другие его собратия. Первое дело для государства—народное образование, и в нашем кантоне оно поставлено лучше, чем в других. Кроме этого государство должно поддерживать равноправие граждан. Что мы видим у нас? У нас нет аристократии. У нас, как и повсюду, есть богатые и бедные, но и те и другие пользуются одинаковыми политическими правами. Итак, граждане, будем по-прежнему поддерживать наши политические учреждения, под их защитой мы можем смело итти по пути прогресса, под общим девизом нашей конференции: Patrie et liberté, citoyens!

Речь покрыта была аплодисментами.

Второй оратор сказал несколько слов о том, что мы теперь переживаем трудное время: главная наша индустрия—изготовление часов — переживает тяжелый кризис; рядом с ним мы потерпели от филоксеры. Все это так; но если мы сумели освободиться от гнета Пруссии, то нам не-

чего бояться внутренних, домашних невзгод,—с ними мы сумеем справиться. Этим оратор закончил свою речь. После аплодисментов вместо ораторов выступил хор.

— Лучше было бы, если бы они не болтали, а пели. Поют они лучше, чем рассуждают об общественных делах,—сказал мой спутник.

— Куда же мы теперь направимся? Ведь у нас праздник теперь?—спросил я.

— Зайдем в ресторан, там будут критиковать речи ораторов, а мы возьмем пол-литра вина и будем слушать.

— Что же, зайдем,—сказал я.

Ресторан был полон народом; посредине комнаты сидели два утренних оратора и упивались расточаемыми им комплиментами.

— Вы, господа, говорили, как должны говорить представители нашего демократического кантона,—сказал один из сидевших вместе с ораторами.

— Да, пусть попробовал бы кто-нибудь говорить так с трибуны в Ваатландском или Фрибургском кантоне: вот поднялась бы ругань; целую неделю трещали бы об якобинцах с Юрских гор. Среди нас,—это всем известно,—есть несколько секций социалистов,—и мы не мешаем им проповедывать утопические идеи, но мы не допустим их до насилия. Пропаганды кулаками мы не потерпим.

И оратор сел за стол среди громких криков одобрения и аплодисментов. Когда поощрительные крики затихли, встал какой-то чистенько одетый рабочий, средних лет, обратился к публике и попросил слова.

— Я не оратор,—начал он,—но за то я знаю жизнь рабочих. Редкий год проходит без забастовок, и чуть не половина рабочих выбрасывается на улицу. Это у нас мы видим и теперь. Мы видим целые толпы часовщиков на улице. Неужели же это—нормальное положение дел? Неужели желание получать нормальную плату 7 франков и работать десять часов в сутки можно считать утопией? Ораторы ратуши говорят, что они не допустят беспорядков. Кто же вызывает эти беспорядки, как не хозяева? Кто это уменьшает поштучную расценку, кто сбавляет плату, когда цены на товар падают? Вспомните, господа, стачку при прорытии С.-Готардского туннеля, и кто вызвал туда войска усмирять рабочих. Теперь, почтенные господа ораторы ратуши, я надеюсь, что мы с вами согласны в наших воззрениях!

— Это дерзость! Это — оскорбление, насмешка! — кричали на незнакомого оратора со всех сторон.

— Нет, он говорит правду. Он защищает интересы пролетариев!—возражали другие.

— Да спросите его по крайней мере, кто он,— добивались третьи.

— Я — железнодорожный механик Бриммер, служу в бернском депо, а теперь отправляюсь домой. Желаю вам покойной ночи.

С этими словами он вышел из ресторана.

После годового праздника между руководителями секций Романского интернационала начались довольно частые свидания. То приедет Брусс из Берна, то Гильон из Невшателя. Являлись они

читать публичные лекции, темой которых служил вопрос о пропаганде фактами. Я, чтобы не вмешиваться в чужое дело, оставил за собой квартиру, а сам отправился погостить к знакомым в Женеву и зашел к Ралли. Он и его семья очень обрадовались мне.

— Ну, что, какие новости у вас, в горах?— спросил меня хозяин.

— Там, у нас, только и говорят о пропаганде фактами,—сказал я.

— Эти вести дошли и до нас; предполагают устроит торжественную процессию в память годовщины коммуны.

— Вот как! В чем же будет состоять весь этот спектакль?

— По всей вероятности, пройдут по городу с красными знаменами, а потом зайдут в какой-нибудь ресторан, будут говорить речи, произносить тосты. Вы поедете?

— Отчего же не посмотреть на процессию? Ведь у нас, на родине, ничего такого не увидишь.

— Что же, поедемте вместе, — предложил Ралли:—завтра, в одиннадцать часов, надо быть в Берне.

На другой день мы выехали рано утром, а на пути к нам присоединилась другая группа с пением песен. Только что мы успели вылезти из вагонов, толпа подняла красное знамя, а вслед за первым поездом подъехал цюрихский поезд, и поднялось другое знамя. Перед кортежем моментально выстроились городовые со штатгальтером во главе, к городовым присоединились прохожие, лавочники, извозчики, разносчики и набросились на кортеж.

Несколько городовых пытались отнять знамя, но кортеж пробил себе дорогу к загородному ресторану, занял его, и бернский студент Кахачкофер открыл собрание. Городовых набралось в ресторан много, но так как за ресторан были заплачены деньги, уже организовано было бюро, и начались речи, то полиция ограничилась пассивным надзором. Гости, на лицах которых виднелись следы побоев, густой толпой лезли в ресторан. По счастью, эта драка обошлась без серьезных членовредительств. Мало-по-малу публака успокоилась, и на другой день все разъехались по домам. Я отправился вместе с женевцами, и, как следовало ожидать, всю дорогу протолковали о бернском казусе. Большинство склонялось к тому, что это была неудачная затея.

— Какое впечатление могли произвести красные флаги в аристократическом Берне, административном центре союза?—говорили они.

— Гораздо целесообразнее было бы устроить конгресс и на конгрессе вспомнить парижскую революцию.

— Нечего было и ждать, кроме драки: когда буржуа завидит красный флаг, он бросается на него, как разъяренный бык.

— Во всяком случае, виноват штатгальтер Ваген-Биль. Если бы он не остановил кортеж и пропустил его, мы бы ушли в ресторан, и собрание окончилось бы без всяких инцидентов. Наговорили бы речей, попели бы песни, и тем дело кончилось бы.

Среди этих разговоров мы добрались до Женевы и, выйдя из поезда, были окружены целой толпой знакомых и любопытных.

— Ну, что? Как? Много раненых? Говорят, что была аттака кавалерии? — слышались вопросы со всех сторон.

— Все живы, здоровы,—все! — отвечали прибывшие.

Так закончилась в Берне попытка испробовать способ пропаганды фактами.

Этот опыт был не единственный. Спустя недели три после бернской демонстрации в итальянских газетах появились известия о том, что около селения Беневенто видели вооруженный отряд молодых людей, большинство которых были знакомы местным жителям. Они заняли Беневенто без выстрела, истребили документы, сожгли портрет местного епископа и тронулись дальше в горы. С тех пор о движении отряда долго не было никаких сведений. Забравшись в горы, партия сбилась с дороги и наткнулась на отряд солдат. Повстанцы пробовали пустить в ход огнестрельное оружие, но снаряды отсырели, ружья подмокли, и стрелять было нечем. Солдаты предложили партии сдаться, и начальник волонтеров скомандовал сдать оружие. Солдаты оцепили кругом пленных и доставили в тюрьму. Повстанцев очень долго держали под арестом в тюрьме, но благодаря тому, что инсургенты сдали оружие, и кроме того среди них было много представителей местной аристократии, был приискан какой-то удобный предлог к амнистии.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Л. А. Тихомиров. Г. В. Плеханов и его друзья. Ц. 50 к.
В. Н. Фигнер. После Шлиссельбурга. Ц. 2 р.
Г. Г. Шпет. Философское мировоззрение А. И. Герцена. Ц. 40 к.
Фридрих Энгельс. Неизданные письма. Ц. 35 к.

Печатаются и поступят в продажу следующие книги.

Е. Д. Боголюбов. 200 партий М. И. Чигорина.
Н. Л. Бродский и В. Л. Львов-Рогачевский. «Красный Декабрь». Сборник революционной поэзии за 100 лет.
К. Э. Бруновский. Вика.
А. С. Буткевич. Самоучитель пчеловодства.
Т. Герцка. Заброшенный в будущее. Социальный роман.
А. И. Дзенс-Литовский и И. С. Абрамов. Познание местного края.
Н. В. Здобнов. Основы краевой библиографии.
В. Л. Львов-Рогачевский и Р. С. Мандельштам. Рабоче-крестьянские писатели. Библиографическое пособие.
В. А. Макдональд. Десять тысяч лет тому назад. Древнейшая повесть.
Н. А. Миролюбов. Как помочь себе в суде?
С. Михаэлис. Небесный корабль. Социальный роман.
С. А. Наумов. Труд и профдвижение. Библиографический указатель.
А. И. Нимцович. Шахматная блокада. (Издание 2-е).
И. И. Попов. Минувшее и пережитое. От Чеховских сумерек к революции.
Н. С. Русанов. Воспоминания.
В. И. Селиванов. Декабристы. Систематический указатель литературы.
З. Тарраш. Современная шахматная игра.
В. А. Харченко. Веди хозяйство по-новому.
В. А. Харченко. Выращивание телят.

